

А.Я.ГУРЕВИЧ
ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ
ТЕОРИЯ ФОРМАЦИЙ И РЕАЛЬНОСТЬ ИСТОРИИ

Вопрос о применимости понятия “социально-экономическая формация” в историческом исследовании возник не сегодня. Он уже обсуждался в теоретических дискуссиях 60-х годов, но затем разделил участь многих других вопросов философии истории и методологии исторического познания - его стали обходить молчанием. Между тем в настоящее время этот вопрос приобретает новую, еще большую значимость, притом не только теоретическую, но и - может быть, прежде всего - политическую. Глубокие пертурбации, переживаемые на наших глазах тем, что еще совсем недавно именовалось “мировой системой социализма”, не могут не ставить обществоведов перед вопросом о смысле и научной эффективности теории социально-экономических формаций.

Эксперименты по практическому воплощению идеи социализма, мягко говоря, не увенчались успехом. Мало того, эти эксперименты, проводившиеся в странах с различными социально-экономическими укладами, преимущественно некапиталистическими или при относительно слабой развитости капитализма, приводили к использованию идеи социализма в качестве псевдонима тоталитарных режимов. Политическая и идеологическая “надстройка” совершила грубое насилие над экономическим базисом, принесла его в жертву доктрине, и в результате “реальный социализм” оказался бесконечно далеким от того строя производства и общества, который виделся Марксу.

Если же оставаться в плане теории, то выяснилось, что отсутствует четкое и разработанное понимание того, что такое социализм и каковы его коренные, неотъемлемые признаки. Но социализм, по Марксу, не просто один из способов производства, он представляет собой завершение всей предшествующей истории, понимаемой, в самых общих контурах, как восхождение от одной общественной формации к другой.

Исторический опыт, который сделался фактом биографии ныне живущих поколений, ставит нас перед необходимостью нового осмысления теории формаций.

Мои измерения в данном случае ограничиваются попыткой предельно кратко наметить некоторые аспекты проблемы, имеющие непосредственное отношение к историческому знанию. Тревожащий историка вопрос состоит в следующем: в какой мере теория формаций способствует углублению и прогрессу исторического познания?

1. Возникновение теории социально-экономических формаций было естественным результатом борьбы, которую начиная с 40-х годов минувшего столетия вели Маркс и Энгельс против идеалистического истолкования человека и исторического процесса. В противовес конструкциям младогегельянцев и иных идеалистов, сводивших историю к “саморазвитию и самопознанию духа”, они выдвинули материалистическое понимание истории, что само по себе явилось колоссальным завоеванием научной мысли.

Введя понятия “способа производства материальных благ” и “социально-экономической формации” и разрабатывая их содержание, Маркс и Энгельс оказали в высшей степени плодотворное воздействие на развитие исторической науки, дав ей концептуальный аппарат для выделения и осмысления общественных отношений и лежащих в их основании хозяйственных систем в качестве тех сторон человеческой жизни, которые определяют политические и идеологические феномены. Дальнейшее развитие исторического знания проходило во многом под влиянием Маркса, независимо от того, признавали его те или иные историографические направления или отрицали. Материалистическое понимание истории открыло новую страницу в освоении богатства исторического процесса.

Огромным достижением научной мысли явился переход к системному рассмотрению общества. Маркс по сути дела впервые увидел его как сверхсложную систему, организующуюся вокруг определенных принципов. Тем самым был положен

конец тому подходу к истории, который выделял из ее потока отдельные направления эволюции - политические, бытовые, религиозные и т.д., но не охватывал общества в качестве самоорганизующегося, одновременно гомеостатичного и развивающегося организма, все компоненты и стороны которого координированы и образуют диалектическое, т.е. внутренне противоречивое единство. Конечно, системный подход Маркса обладал известной ограниченностью. Он принимал во внимание преимущественно и главным образом материальные, “базисные” факторы и, собственно, в первую очередь именно в них усматривал системообразующее начало. Тезис о “базисе” и “надстройке” априорно отводил феноменам политического и идеологического плана роль несамостоятельных элементов “второго порядка”, лишь “отражающих” структуру и изменения базиса. Сама природа метафоры “базис/надстройка”, заимствованная из строительной области, свидетельствует об известных ограничениях системной мысли того времени; сравнение общества с организмом, к которому прибегают современные социологи и философы, как кажется, скорее приближает к адекватному постижению предмета. Различие, разумеется, состоит не в том, из какой сферы действительности берутся сравнения, а в том, что объяснение, исходящее из диалектики “базис/надстройка”, есть объяснение причинно-следственное, тогда как системный подход, как он мыслится научной и методологической мыслью XX века, предполагает иные - более гибкие и дифференцированные схемы интерпретации.

В марксистской историографии немало сделано для того, чтобы пересмотреть идеалистические построения и насытить картину истории социально-экономическим содержанием. В результате этих исследований были охарактеризованы “несущие” структуры самых разных форм человеческого общежития. Изучение закономерностей производства и распределения во многом обогатило понимание истории и глубинных причин ее движения. Историки существенно продвинулись в уяснении базисных феноменов, и в результате в новом свете предстали многие черты и особенности политического строя и общественных движений.

Однако не ограничиваясь разработкой материалистического метода понимания истории, Маркс и Энгельс сформулировали философию исторического процесса. Я полагаю, что необходимо делать различие между общеметодологическим подходом к изучению исторического материала, с одной стороны, и генерализирующей конструкцией - с другой. Разграничение это необходимо для правильной оценки как метода, так и философско-исторических построений, ибо последние вовсе принудительно не вытекают из метода.

Как свидетельствует практика советских историков в использовании этой теории, одна из важнейших процедур, ими осуществляемых, заключается в том, что к любому из изучаемых обществ неизменно прилагается пятичленная схема. Любое общество якобы в той или иной мере соответствует признакам, отвечающим характеристике одной из формаций. В случаях, когда трудно или невозможно добиться подобного соответствия исторической действительности “идеальному типу” - а такого рода случаев более, чем достаточно, - делаются оговорки о локальном “своеобразии” данной общественной структуры либо об ее “недоразвитости”, но сомнений относительно универсальной применимости схемы не возникает. Положение о том, что некоторые народы не проходили через какую-либо формацию, но “миновали” ее, не только не отменяет общеисторического закона, но, напротив, как бы утверждает его. Путь истории уподобляется железнодорожному полотну, поезд может вопреки расписанию “миновать” станцию, но движется он по все тому же пути: если вспомнить о “локомотиве истории”, то сравнение ее пути с железной дорогой не покажется столь уж натянутым.

Известную “отдушину” в этой цельной конструкции часть востоковедов пробовала найти в замечаниях Маркса об “азиатском способе производства”, но, как известно, обсуждение вопроса о правомерности применения этого понятия также было в конце концов скомкано. Нельзя не отметить, что самое понятие “азиатский” в применении к способу производства не вполне корректно с точки зрения логики теории

формаций: это понятие не раскрывает формационного содержания тех или иных общественных систем, подменяя его географической привязкой, причем все “азиатское” опять-таки выносится за одну скобку. Что именно подразумевал Маркс под “азиатским способом производства” - определенную стадию доклассового общества, разновидность раннеклассовых образований или вариант феодального строя, - остается невыясненным.

Мне кажется наиболее вероятным, что Маркс прибег к этому понятию для того, чтобы подчеркнуть глубокое своеобразие общественных структур на Востоке и способов их функционирования, своеобразие, которого он не мог не видеть и которое не вмещалось в рамки схемы формаций. Потребность во введении понятия “азиатский способ производства” диктовалась прежде всего сознанием того, что на Востоке наблюдалась не последовательная смена социальных систем, а их устойчивость и неизменность. Категория исторического прогресса, на которую опиралось учение о формациях, здесь не “работала”.

Любопытно, кстати, что у самого автора теории формаций наряду с “азиатским способом производства” время от времени возникало еще одно “отклонение” от формационной “нормы”. Маркс предпочитал говорить не о “рабовладельческом способе производства”, а об “античной формации”. Эти понятия никоим образом не синонимы, ибо, как Маркс не раз подчеркивал, базис античного общества образовывал труд свободных крестьян и ремесленников, а не труд рабов. Итак, налицо вторая “аномалия” в схеме поступательного развития общественно-экономических формаций - “античный способ производства”.

Эти “отклонения” от схемы не случайны. Маркс был настолько чуток к исторической конкретике, что не был склонен подгонять все бесконечное многообразие истории под жесткую и единообразную схему. Я уже не говорю о том, что при состоянии исторических знаний середины прошлого столетия свою теорию формаций Маркс неизбежно основывал преимущественно на материале истории Европы.

Маркс не мог не ощущать известного противоречия между всеобъемлющей системой формационного развития и многоликостью реальных социальных форм. Не отсюда ли его резкие высказывания об “универсальной отмычке”, которую стремятся применить везде и всюду? Ибо не по уму усердные продолжатели Маркса поторопились распространить “пятичленку” на все известные историкам социальные образования.

Стремясь найти выход из этого противоречия, которое со временем стало выступать все сильнее и явственнее, марксисты-философы и историки прибегают к рассуждениям об “общем” и “особенном” в историческом процессе, строят внутриформационные типологии, и все это отнюдь не лишено определенного смысла, поскольку позволяет расширить операционное поле в пределах пятичленной схемы.

Предлагались разного рода ее модификации. Например, историю человечества делили на стадии “первичной” и “вторичной” формаций, включая в первую все докапиталистические общества; в этой “первичной” формации под рубрику “феодализм” рекомендовали включить все социальные образования, вышедшие из стадии первобытности. Дискуссии об общественных формациях, которые проводились советскими историками в 60-е годы, продемонстрировав немало слабых мест “пятичленки”, вместе с тем не смогли существенно продвинуть вперед методологическую мысль, поскольку они оставались в рамках все той же схемы, не посягая на ее истинность.

2. Однако главная трудность в применении теории формаций к изучению исторического процесса заключается в другом. Научное исследование всегда начинается с формулировки проблемы. Ее постановка диктует тот вопросник, с которым историк подходит к своим источникам. О том, о чем историк их не вопрошает, источники ему и не расскажут. Учение о формациях предопределяет направление мысли историков. Они отбирают в источниках материал, релевантный схеме, отбрасывая и игнорируя остальное или отесняя этот “иррациональный остаток” на периферию своего сознания. “Кто ищет, тот всегда найдет”, распевали мы в детстве. В

этих словах горькая правда: идущий находит именно то, что ищет, и может не увидеть или, во всяком случае, не оценить объективно всего остального. Априорные установки, заложенные в схему, односторонне ориентируют исследователей, сужение горизонта поиска неизбежно ограничивает его свободу.

Нет ничего проще, чем всюду и везде находить “феодализм”, если руководствоваться упрощенным пониманием феодализма как строя крупного землевладения, эксплуатирующего земледельцев. Здесь всегда налицо вооруженные господа и бесправные крестьяне, к которым господа применяют внеэкономическое принуждение, и связи между сюзеренами и вассалами. Оснащенный такими критериями историй найдет феодализм и в древневосточных деспотиях - от Месопотамии до Египта, и в Римской империи (колонат), и в Китае, и в Индии, и в Иране, и в Византии, и в Русском государстве (крепостничество). Над культурами мелкого земледелия постоянно и повсеместно воздвигались схожие между собой системы угнетения¹.

И столь же незамысловата процедура поисков рабовладельческого строя: в самом деле, где в давние (и сравнительно недавние) времена не существовало рабства? Но определяли ли рабство или поземельно-личная зависимость крестьян коренные, структурные черты того или иного общества? Этот вопрос обычно не обсуждается.

Применение историками пятичленной схемы чревато упрощениями и неоправданными сближениями разнородных и разнокачественных социальных систем и слабо обоснованными генерализациями. Поглощенные взысканиями формационных признаков в том или ином обществе, мы упустили из виду такие стороны исторической действительности, которые объемлются понятиями “культура” и “цивилизация”. Но что означает подобное “упущение”? На мой взгляд, не что иное, как игнорирование самой сущности исторического процесса - истории людей. Категории “культура” и “цивилизация” лежат в ином плане, нежели категория “формации”, и не могут быть к ней сведены.

Как правило, не обсуждается возможность существования социальных структур, которые не подходят под характеристику какой-либо из намеченных марксизмом формаций и “выламываются” из схемы. Казалось бы, введение в научный оборот новых материалов, открытие доселе неведомых обществ и выявление в давно изучаемых структурах новых сторон должны были привести к усложнению категориальной сетки, которую историки налагают на историческую действительность. Ведь функция “идеального типа” в историческом исследовании заключается в том, чтобы посредством верификации идеально-типической модели путем сопоставления ее с конкретными наблюдениями добиться открытия новых сторон действительности, моделью не предусмотренных; иными словами, в том, чтобы в свете исследовательского эксперимента эту модель обогатить, видоизменить или вовсе отбросить. Эвристическая ценность идеального типа обнаруживается именно в тех случаях, когда это “предельное понятие” в той или иной мере опровергается исследуемым материалом.

Между тем наложение формационной схемы на данные исторических источников в лучшем случае вело лишь к некоторой детализации того или иного ее компонента, но не к ее пересмотру в целом. Дело в том, что учение о формациях не представляет собой “идеального типа” - орудия познания. Во-первых, идеальный тип, по Марксу Веберу, не обретается в эмпирической реальности и представляет собой “исследовательскую утопию”, тогда как общественно-экономическая формация, по Марксу, есть не что иное, как материальное воплощение системы производственных отношений, собственности, средств производства, а вовсе не логическая конструкция.

То, что “общественно-экономическая формация” и “идеальный тип” представляют собой логически несопоставимые категории, побуждает нас затронуть вопрос о гносеологических аспектах марксистской теории.

¹ Feudalism in History. Princeton, 1956. Обзор взглядов на феодализм в зарубежной науке см. в реферативном сборнике “Проблемы феодализма”, ч. I, II, ИНИОН АН СССР. М., 1975.

Можно представить себе, что марксизм в период своего становления оказался, так сказать, перед “гносеологической развилкой”: его творец встретился с дилеммой - принять точку зрения Гегеля или же пойти по стопам Канта. Первый путь означал единство сознания и действительности, им воспринимаемой; здесь мысль последовательно овладевает миром, и ее познавательная способность в конечном счете зиждется на их внутренней аналогии и родстве. Познавая мир, дух осознает самого себя. Постулат гегелевской гносеологии - мир познаваем. Путь же Канта предполагал непрестанную, напряженную борьбу мысли, преодолевающей огромные препятствия для того, чтобы к этой действительности прикоснуться.

Маркс без колебаний встал на позиции Гегеля, отвергнув его объективный идеализм, но сохранив в материалистической интерпретации его панлогизм. Гегелевская диалектика была перевернута “с головы на ноги”, но лежавшая в ее основе уверенность во всемогуществе познания не подвергалась сомнению. Последователи Маркса в этом отношении оказались по существу безоружными перед лицом позитивизма. Пафос единой науки, ориентированной на открытие всеобщих законов, был распространен и на науки об обществе.

В результате, когда в конце минувшего и в начале нынешнего столетия неокантианская мысль выдвинула новые проблемы исторического познания - проблему коренного различия между науками о природе и науками о культуре, проблему противоположности между их методами (помплетическим и идеографическим), проблему “идеального типа” как орудия познания в исторических науках, - марксизм оказался в стороне от этой проблематики, чуждым ей и, я бы заметил, беспомощным перед ней. Его позиция в отношении новых тенденций была и осталась односторонне негативной. Тем самым для него была наглухо закрыта возможность углубленного обсуждения специфики гуманитарного знания.

Во-вторых, учение о формациях в практике историков вообще оказалось не средством социально-исторического анализа, а целью: конкретное историческое познание было призвано подтверждать истинность философско-исторической системы.

Выдвинутая Марксом научная гипотеза была впоследствии превращена в непогрешимую догму. Марксу было приписано открытие законов исторического развития, якобы действующих во все времена и под любыми широтами. Короче говоря, из пылливо ищущего мыслителя он был превращен в своего рода “папу”, заместителя абсолютной истины. Оказав Марксу медвежью услугу тем, что провозгласили его взгляды неоспоримым учением, монополизировавшим истину в нашей стране и в других странах, в которых у власти стояли коммунистические режимы, идеологические боссы и их приспешники по сути дела вывели марксизм за пределы науки, сделав его предметом веры и компонентом принудительной идеологии тоталитарного строя. Это не могло не привести к вульгаризации и прямой фальсификации мыслей Маркса.

Если же попытаться восстановить нормальные отношения к теории Маркса об общественных формациях, то неизбежно возникает ряд вопросов. Учение о формациях внушает сомнения уже в силу универсальности применения, на которое оно претендует. Оно выделяет один аспект исторической жизни - социально-экономический. Исключительная значимость этого аспекта совершенно несомненна. Но можно ли доказать, что на любом этапе истории именно социально-экономические отношения детерминировали общественную жизнь в целом, что это же определяющее значение они имели и в первобытности, и в античности, и в Средние века, и на Востоке или в Африке, в такой же мере, как в Европе Нового времени? Можно ли утверждать, что содержание понятия “социальные отношения” применительно к разным эпохам оставалось неизменным, равным самому себе? Разве аксиоматично, что то достаточно ясное расчленение экономики и политики, хозяйства и этики, собственности и власти, религии и общественных связей, которое кажется самоочевидным для современного человека, имело место и на всех других стадиях истории человечества?

Достаточно задать эти и подобные им вопросы, для того чтобы предположить отрицательный ответ историка. “Сведение всего многообразия “мира людей” к

формационным характеристикам есть не что иное, как “формационный редукционизм”² - трудно не согласиться с этим суждением редакции “Вопросов философии”. Я полагаю, что такого рода редукционизм ведет к игнорированию или недооценке человеческого начала, в чем бы оно ни выражалось, - в религии или иных формах иррациональности, в проявлениях индивидуальности, в творческих обнаружениях личности и в коллективных социально-психологических феноменах. Человеческая свобода, понимаемая только как “осознанная необходимость”, выступает в чрезвычайно урезанной и обедненной форме.

Естественно, историки так или иначе давно столкнулись с теми препонами, которые ставит в их исследованиях теория формаций, и искали выхода из создавшихся трудностей и тупиков. Да будет мне позволено сослаться в этой связи на собственный скромный опыт.

В разное время мною предпринимались попытки предложить некоторые “поправки” или “уточнения” формационной теории с целью сделать ее более приемлемой в историческом исследовании. Понятие формационной “многоукладности”, наличия в обществе ряда сосуществующих и взаимодействующих общественно-экономических образований, из коих ни одному нет оснований приписывать определяющую роль, было бы, на мой взгляд, первым шагом в этом направлении. При этом имеется в виду не какое-то состояние перехода от одной формации к другой, а длительное и устойчивое функционирование общества, характеризующегося известной социальной гетерогенностью³. Такой путь казался мне более предпочтительным, нежели отдающие схоластикой споры о том, является ли данное общество (например, Киевская Русь) рабовладельческим или феодальным.

Следующим шагом в том же направлении мне представляется признание того факта, что социально-экономические формации не существуют в изоляции. Как правило, налицо взаимодействие между ними, и это взаимодействие является условием функционирования каждой из них. Например, едва ли возможно представить себе устойчивую жизнедеятельность античного общества без наличия обширной “варварской периферии”: она поставляла ему рабскую силу и иную добычу и служила сферой расширения господства; империи древности держались до тех пор, пока были способны осуществлять внешнюю экспансию. Что касается феодализма, то в тех странах, в которых без натяжек действительно можно констатировать его наличие (преимущественно, на мой взгляд, это страны Западной Европы), он возникал не столько в результате разложения античного (“рабовладельческого”) строя, сколько в качестве продукта взаимодействия его с более архаическими, доклассовыми обществами: магистральная линия пути к феодализму пролегла через их трансформации.

Другим примером межформационного взаимодействия могут служить отношения между странами Западной Европы, с одной стороны, и народами Азии, Африки, Америки, Океании, Австралии, находившимися на разных стадиях социального и хозяйственного развития, - с другой. Неотъемлемой стороной эпохи “первоначального накопления капитала” было создание всемирной колониальной системы, которая снабдила поднимающийся западноевропейский капитализм необходимыми для его развития богатствами, дала ему подневольную рабочую силу и обширные рынки. Но другой стороной этого процесса было радикальное нарушение того баланса развития, который был присущ колонизуемым европейцами народам.

Наконец, сама жизнь поставила нас ныне перед вопросом о постоянном, длительном сосуществовании и сотрудничестве мировых социальных и экономических систем как условия выживания каждой из них и человечества в целом. От догмы, согласно которой капитализм переживает стадию “загнивания” и “общего кризиса” и якобы вступил в завершающий этап своего существования, осталось столько же, сколько от идеи “всемирной пролетарской революции”. Проблема конвергенции

² Формации или цивилизации? (Материалы “круглого стола”). - “Вопросы философии”, 1989, № 10, с. 34).

³ Гуревич А.Я. К дискуссии о докапиталистических общественных формациях: формация и уклад. - “Вопросы философии”, 1968, № 2.

разных систем, диктуемая осознанием мировой катастрофы в случае глобального конфликта между ними, уже не может быть отброшена в интересах превратно понимаемой “чистоты” доктрины.

Иными словами, мировой исторический процесс едва ли правомерно понимать в виде линейного восхождения от одной формации к другой, равно как и размещения этих формаций по хронологическим периодам, ибо так или иначе на любом этапе истории налицо синхронное сосуществование и постоянное взаимодействие разных социальных систем. Речь идет об освобождении мысли историка от упрощенной схемы исторического прогресса, о том, чтобы его исследовательская пытливость не была стеснена шорами предзаданной системы⁴. Эта схема, возможно, “облегчает” жизнь философа, избавляя его от необходимости внимательно вникать в реальный ход истории, но даже со всеми оговорками о различиях и расхождениях между “магистральной линией” истории и ее конкретными особенностями в те или иные периоды и в определенных странах, профессия историка не дает ему ни права, ни возможности довольствоваться созерцанием исторического процесса “в телескоп”. Историческая наука - наука прежде всего о конкретном и индивидуальном; наукой же об общем и повторяющемся она является лишь постольку, поскольку не игнорирует конкретное и индивидуальное, но максимально вбирает его в свои обобщения. В противном случае все эти генерализации неизменно остаются предельно тощими и бессодержательно бесплодными.

Формационный подход к истории предполагает оперирование главным образом или даже исключительно такими обобщающими понятиями, как “способ производства”, “класс”, “общество”, понятиями, которые выражают высокую степень абстрагирования от конкретной эмпирии. Между тем современная историческая наука вслед за определенными направлениями социологии, этнологии и культурной и социальной антропологии обнаруживает скорее противоположную тенденцию - к изучению “малых групп”.

Микросоциологический подход вовсе не исключает подхода макросоциологического. Однако исследователи не ограничиваются обобщениями данных, полученных по целой стране, крупному региону, провинции, и идут в глубь материала - изучая состав, изменения и функционирование тех малых социальных образований, в которых реально протекает жизнедеятельность индивидов. В семье, клане, общине, в возглавляемом сеньором союзе вассалов или в дружине в церковном приходе, ремесленной мастерской, поместье, крестьянской усадьбе, в княжеском дворе, мануфактуре, на фабрике и всяких иных сообществах общественные отношения осуществляются не обезличенно и анонимно, но сохраняют форму прямых межличных связей. Здесь социальный анализ предполагает индивида.

Микросоциологическая история создает почву для сближения социально-экономического исследования с исследованием ценностей, норм поведения, коллективного сознания, религиозных установок и картин мира, заложенных в сознание людей их культурой. Тем самым удается преодолеть традиционный разрыв между социальной историей и изучением ментальностей, разрыв, делающий формационную историю историей социологических и политико-экономических абстракций, в которой человек как активное творческое и наделенное психикой существо не находит для себя места.

Но, как мне уже неоднократно приходилось писать, внимание к малым группам, которые реально и составляли классы, сословия и иные макрообразования, связано с коренным изменением угла зрения историка. Он не может при этом довольствоваться “естественнонаучным” изучением человеческих коллективов “извне”, но должен совмещать этот анализ с проникновением в глубины сознания людей, которые образовывали малые группы. Историк изучает мировосприятие этих людей, их субъективное отношение к производству и обществу, отношение, которое во многом и

⁴ Философия и историческая наука. (Материалы “круглого стола”). - “Вопросы философии”, 1988, № 10, с. 20-23.

главном определяло характер их общественной активности. Иными словами, на “сетку координат”, которой руководствуется исследователь, накладывается та “сетка координат”, которая была фактом сознания самих участников исторического процесса. Только при этом “бинокулярном” видении можно с должной глубиной понять социальное поведение человека в группе, малых и больших групп, классов, масс людей.

Развитие наук о человеке и обществе на протяжении последних десятилетий с новой силой и убедительностью продемонстрировало символическую природу социальных отношений. Эти дисциплины - структурная и символическая антропология, семиотика, историческая поэтика, культурология, история ментальностей, герменевтика (в ее версиях, разрабатывавшихся Дильтеем, Хайдеггером, Гадамером) - сложились после Маркса. Консервативно настроенная марксистская критика “буржуазной науки” воспрепятствовала продуктивному диалогу марксизма с этими направлениями. Объяснительные модели марксизма по-прежнему ограничиваются преимущественно сферой производственных отношений, тогда как все более “тонкие” материи оттесняются на периферию мысли или игнорируются.

Но тем самым теория формаций оказалась оторванной от целого ряда современных научных течений. Всякий изоляционизм в сфере мысли обрекает ее на отсталость, стагнацию, провинциализм, и все это в избытке содержится в современном марксизме.

3. Возвратимся, однако, к Марксу. Его теория не просто предполагает поиск некой формации в данную эпоху и на данной территории. Эта теория была выработана как целостная философия истории и приобретает свой подлинный смысл лишь при рассмотрении ее в качестве таковой. Она выражает учение о последовательных ступенях восхождения человечества от первобытного коммунизма через рабовладение, феодализм и капитализм к коммунистическому обществу, историческую неизбежность перехода к которому это учение призвано обосновать. Теория формаций претендует на то, чтобы объяснять исторический прогресс *in toto*, и рассматривает историю с точки зрения ее завершения в будущем. Этот прогресс диалектичен, он строится в полном соответствии с гегелевской триадой “тезис - антитезис - синтез”. Бесклассовое общество архаического типа в силу имманентно заложенных в нем потенций разлагается, сменяясь антагонистическим типом социальных отношений, строящихся на эксплуатации. Раннеклассовые формации суть не что иное, как отрицание первобытного доклассового строя. И столь же закономерно и неизбежно в недрах последней из антагонистических формаций - капитализма созреют предпосылки бесклассового коммунистического общества. Произойдет “отрицание отрицания”, “экспроприация экспроприаторов”.

Здесь придется сделать некоторое отступление. В гегелевской философии истории, углубившей понятие исторического прогресса, латентно, в “снятом”, т.е. секуляризованном и рационалистическом виде, сохранялись коренные черты христианской эсхатологии. Движение из прошлого в будущее в контексте христианской теологии означало приближение к конечной цели мироздания, к завершению времени и к слиянию его с вечностью. В средневековых учениях о “возрастах” человечества или о четырех последовательно сменявших одна другую “монархиях” была заложена вера в единство истории, которая протекает в форме протivостояния и взаимодействия “Града Божьего” с “Градом земным”.

Это официально признанное учение было, однако, достоянием преимущественно “книжных”, образованных людей, т.е. меньшинства средневекового общества. В широких социальных кругах христианская эсхатология приобретала иное, более радикальное изучение, как правило, осуждаемое церковью в качестве ереси. Миллениарии, хилиасты, которые проповедовали неминуемое и быстрее наступление тысячелетнего Царства Божьего на земле, возбуждали живой отклик в массах и оказывали на них огромное влияние. Под знаком хилиазма проходила значительная часть народных выступлений Средневековья. Восстание против несправедливых господ и попов приведет, по убеждению участников такого рода

движений (таборитов, последователей Томаса Мюнцера, анабаптистов Мюнстерской коммуны и т.п.), к немедленному установлению царства божественной справедливости. И они пытались на практике осуществить свой идеал.

У Гегеля средневековая эсхатология как бы устранена. Но христианская теология истории “просвечивает” сквозь его учение. Вместо грандиозного апокалиптического финала истории - Второго пришествия и Страшного суда Гегель увидел возвращение саморазвивающегося абсолютного духа к самому себе, а в плане политической истории и истории гражданского общества венцом исторического прогресса умудрился счесть современное ему прусское государство.

Столь жалким свертыванием истории он вполне заслужил сокрушительную критику Маркса и Энгельса. Поставив гегелевскую диалектику “с головы на ноги”, Маркс возвратил философии истории ее былую величественность. История проходит ряд ступеней - социально-экономических формаций, каждая из коих, сменяя свою предшественницу, представляет собой новый шаг в освоении свободы, но свободы, понимаемой уже не абстрактно, но социально. Философско-историческая мысль возвращается к эсхатологии: коммунизм вместо царства Божьего, торжество социальной справедливости на земле вместо воздаяния по грехам и заслугам в мире потустороннем. Вновь категория будущего подчиняет себе настоящее: нынешние страдания не столь существенны по сравнению с грядущей наградой. Собственно, с победой социалистической революции и начнется подлинная история человечества, ибо до сего времени, по убеждению Маркса и Энгельса, имела место всего лишь его “предыстория”⁵.

Учение о социально-экономических формациях получило первую формулировку в канун и во время европейской революции 1848 года, когда молодым Марксу и Энгельсу казалось, что эсхатологические чаянья получают немедленное осуществление. Но революция захлебнулась, наступила реакция, ожидания конца старого порядка были вновь обращены к будущему. Тем не менее эсхатологизм, прокрившийся в марксово учение, не иссяк и полностью обнаружил себя в ходе Октябрьской революции, первой период которой прошел под знаком нетерпеливого ожидания мирового пролетарского переворота. Сама русская революция обретала свой исторический смысл в качестве пролога и толчка к общеевропейской революции. Пролетариат получил в марксизме-ленинизме статус и ореол “избранного народа”, призванного историей раскрепостить человечество и ввести его в царство свободы. Надежды на то, что грядущий бой с капиталом будет “последним и решительным”, что ближайшая “остановка” “локомотива истории” - “в коммуне”, как и позднейшие декларации о том, что “нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме”, что “мы вас закопаем”, и т.д. и т.п. - отнюдь не демагогия социальных манипуляторов, преследующих своекорыстные цели, - это выражение глубоко укорененных убеждений революционеров, которые жили и боролись в чаянья неминуемо надвигающейся мировой революции. Эсхатологизм, по-прежнему находящий отклик в массах в периоды жестоких социально-политических кризисов, обрел в марксизме новые одеяния.

Различия в понимании перспектив и возможностей рабочего движения раскололи марксистов Европы на коммунистов и социал-демократов. Дальнейшее известно, и здесь на нем незачем останавливаться.

Все, что мне хотелось отметить, сводится к следующему. Учение о формациях представляет собой далеко не только продукт развития научной мысли, резюмирующейся в триаде “французский социализм, английская политическая экономия и немецкая классическая философия”. В этом учении имеется еще и другая сторона, которую, я убежден, было бы неправильно игнорировать или недооценивать. Как ни странно это звучит, марксова теория формаций есть также наследница традиционно присущей христианской мысли хилиастической эсхатологии. Эту теорию, как в ее первоначальной формулировке самими основоположниками научного

⁵ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 7,8.

коммунизма, так и в особенности в ее понимании и применении их последователями, недостаточно оценивать исключительно в контексте развития общественной и научной мысли и философии, - она имеет еще и другую основу, а именно, социально-психологическую, выражает определенный тип менталитета.

Идея становится материальной силой, поскольку она завладевает массами, - бесспорно. Но проходит ли этот процесс завладения массами бесследно для самой идеи? Не вступает ли она во взаимодействие с идеями, представлениями, чаяньями масс, не трансформируется ли она при встрече с социально-психологической почвой, в которой она пускает свои корни и из которой получает импульсы, подчас даже чуждые для нее? Не потому ли хилиастическая и эсхатологическая сторона марксизма оказалась столь притягательной для тех слоев и классов, которые обычно остаются далекими от всяких философий и теорий?

Еще раз подчеркну: речь идет о латентных, глубоко запрятанных от ясного, “дневного” сознания установках, о ментальности, на которую марксизм до самого последнего времени не обращал внимания и которую именно поэтому не был в состоянии проконтролировать. Тотальная идеологизация духовной жизни в нашей стране (и во всей контролируемой марксистскими партиями системе) привела, в частности, к неспособности сколько-нибудь глубоко и адекватно анализировать феномены духовной жизни и всерьез считаться с теми ее пластами и аспектами, которые не могут быть подведены под категории идеологии. Эта неспособность принять в расчет социально-психологические реальности, традиционную ментальность, религиозность, вероисповедание или этнопсихологические особенности людей, к несчастью, не преодолена и поныне.

Между тем выход за пределы “формационного мышления” необходим и неизбежен. Освободившись от шор, которыми так называемые “марксисты” отгородили себя от действительной духовной жизни, они были бы принуждены посчитаться со следующим фактом. Мы принадлежим к европейской цивилизации и, *volens nolens*, сознавая это или не сознавая, разделяем коренные ее ценности и представления, заложенные в основание культуры и воплощаемые всеми ее языками и знаковыми системами. Не следует забывать о том, что цивилизация эта в своих отправных моментах и последних глубинах - христианская, независимо оттого, что она в значительной мере преодолела теологическую стадию и довольно последовательно секуляризовалась. Одним из компонентов христианского наследия является и эсхатологизм. Я полагаю, что вопреки воинствующему атеизму Маркса хилиастическая эсхатология изначально таится в марксизме и что она, помимо его намерений и воли, вошла в самую плоть этого учения.

Как раз в философии истории, в учении о движении рода человеческого от коммунизма первобытного к коммунизму научному, этот эсхатологический хилиазм и содержится, становясь особенно ясным в периоды революционных выступлений масс.

* * *

Выше были вкратце изложены те основания, по которым теория общественных формаций представляется неадекватной для изучения исторического процесса. Философия истории, какова бы она ни была, всегда диктует некую схему, поневоле упрощающую бесконечно красочную и многообразную действительность. Весь вопрос состоит в мере и характере этой схематизации.

Я не касался здесь вопроса о соотношении “логического” и “исторического” в теории формаций. Философы и методологи находят правомерным обсуждать исторический процесс с высот абстракций, где историческая конкретика оказывается не более чем “помехой” для развертывания генерализирующих категорий и где ход истории без затруднений “выпрямляется” и резюмируется в “естественноисторических” общих законах. Логический метод, по словам Энгельса, “в сущности является не чем иным, как тем же историческим методом, только освобожденным от исторической формы и от мешающих случайностей”. Логическое воспроизведение истории дает отражение ее процесса “в абстрактной и теоретически последовательной форме; отражение исправленное, но исправленное соответственно

законам, которые дает сам действительный исторический процесс, причем каждый момент может рассматриваться в той точке его развития, где процесс достигает полной зрелости, своей классической формы”⁶. Вот против этого “освобождения” от “мешающих случайностей”, “справления” действительного хода истории и сведения ее процесса к “классическим формам” не может не восставать мысль “практикующего” историка.

Опирающийся на источники и на научную традицию историк лишен возможности следовать за философом и социологом в эти заоблачные высоты. Историк испытывает все сопротивление материала, который ему надлежит исследовать, упорядочить и осмыслить, не поступаясь особенным, индивидуальным, единичным и уникальным. Разумеется, он не остается рабом хаоса эмпирических фактов и руководствуется неким общим представлением об историческом процессе. Но здесь-то и возникает вопрос о применимости тех или иных социологических концептов в качестве орудий исторического анализа. Какого “масштаба” и “ранга” познавательные категории пригодны в нашем исследовании - общеполитические и предельно генерализирующие или же “теории среднего уровня”, идеально-типические модели, которые строятся исходя не из глобальных конструкций, а вбирая в себя опыт исторического исследования? Я убежден в том, что историку необходима теория, но теория, не отрывающаяся от исторической почвы; то, в чем он нуждается, - не всеобъемлющая система, а комплекс теоретических посылок, поднимающихся над эмпирией, но ни в коем случае не порывающих с ней.

Есть слово, которого очень боятся наши обществоведы. Это - “релятивизм”. Между тем культура-антропология давно убедили тех, кого вообще можно в чем-то убедить, что только преодоление “абсолютизирующей” универсальной схемы и принятие гипотезы о самоценности и своеобразии каждой культуры и цивилизации отвечает современной непредубежденной точке зрения науки. Мне когда-то уже приходилось цитировать Ранке: “...Каждая эпоха находится в непосредственном отношении к Богу”. Оставим Бога в покое. но мысль Ранке остается глубоко верной, ибо каждая историческая форма человеческого общежития представляет самостоятельный интерес, независимо от ее связей с предыдущим и последующим процессом истории.

Между тем в марксистской мысли эта связь интерпретируется совсем иначе. “Исследование функционирования, воспроизводства и развития исторически сложившегося объекта при помощи логического метода предполагает выявление его исторической перспективы, рассмотрение его в единстве настоящего, прошлого и будущего”⁷. Классический пример - марксов анализ капитализма в тени его грядущего краха и неминуемого социалистического преобразования общества. Логический метод осмысления истории, как свидетельствует вся длительная практика марксистской историографии, неразрывно связан с такого рода телеологическим подходом. Самоценность и самодостаточность каждого общественного состояния игнорируются, любой этап истории видится лишь как ступень к последующему. Разумеется, с изменением исторической перспективы прошлое и настоящее видятся по-новому. Но опасность таится в том, что при таком рассмотрении создается односторонняя перспектива, деформирующая историческую целостность и системность изучаемого общества. Разумный релятивизм предостерегает от подобных искажений.

Разрабатывая теорию формаций, Маркс подчеркивал, что их возникновение, развитие и смена представляют собой своего рода “естественно-исторический процесс”. В рамках подобного понимания истории мало места остается для человеческой свободы, для выбора того или иного пути развития, для постановки вопроса об его альтернативности. Случайно ли то, что историко-антропологические интенции ранних трудов Маркса в дальнейшем не были продолжены ни им самим, ни его последователями?

⁶ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 497.

⁷ Швырев В.С. Историческое и логическое. - Философский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 231.

В этой связи введение в практику исторического исследования и в специальную методологию исторического познания современных концепций “культуры” и “цивилизации” могло бы дать существенный противовес формационному телеологизму. Концепции культуры и цивилизации, по существу, игнорировавшиеся Марксом, по-прежнему выпадают из поля зрения марксистского анализа. Это обстоятельство указывает на историческую ограниченность теории формаций, если ее рассматривать не как закономерный этап в развитии научной и общественной мысли XIX века, но в универсуме научных теорий конца XX столетия. Марксистская теория все еще не овладела обширными пластами актуальной проблематики, выдвинувшейся в наши дни на передний план в гуманитарном знании.

Признаем же, наконец, что теория социально-экономических формаций принадлежит эпохе, наука которой развивалась под знаком прогресса. Увы, та эпоха безвозвратно миновала, нас отделяет от нее толща времени, насыщенного столь глубокими и радикальными сдвигами и катаклизмами в экономической, социальной, политической и интеллектуальной жизни, что немислимо предполагать, что будто научные и философские построения XIX века могут полностью и целиком сохранить силу и убедительность в совершенно новом духовном универсуме человека, стоящего на пороге третьего тысячелетия. Ныне обществоведам приходится разрабатывать иной, более гибкий и адекватный понятийный инструментарий. В каком облике и в каком объеме теория социально-экономических формаций сможет быть органически включена в эти новые объяснительные системы и что именно из ее содержания выдержит испытание временем, трудно предсказать, это покажут дальнейшие непредвзятые и неидеологизированные исследования.

ИСТОРИЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ

ЯСТРЕБИЦКАЯ А.Л.

Ж. ЛЕ ГОФФ. ЛЮДОВИК СВЯТОЙ.

LE GOFF J. SAINT LOUIS. - P.: GALLIMARD, 1996. - 956 S.

(ОБЗОР)

Автор книги - Жак Ле Гофф (IV-я Секция Практической школы высших социальных исследований, Париж), один из ведущих современных историков культуры западноевропейского Средневековья и признанных лидеров "Новой истории" (La Nouvelle histoire) - интеллектуального движения, у истоков которого стояли основатели журнала "Анналы" М.Блок и Л.Февр. Данная монография, подготовке которой автор посвятил пятнадцать лет напряженного труда, представляет собой не только важный этап в его творчестве. Она знаменует также и важный методологический поворот в развитии самой "Новой истории", а именно - ее овладение одним из важнейших и последних бастионов традиционной позитивистской историографии - политической событийной историей и повествованием.

Более того, эта книга выдающегося историка являет собой первый столь масштабный опыт конкретной апробации новых методов "микроисторического" анализа и социокультурной интерпретации текстов письменных источников, и одновременно - также первый столь развернутый "ответ скептикам", ставящим под вопрос самую возможность познания исторического прошлого. Задумывая эту книгу, пишет Ж.Ле Гофф в предисловии, я держал все время в уме два "преюдициальных (ущербных) вопроса", которые на самом деле - суть две стороны одной и той же проблемы: "Возможно ли написание биографии Св.Людвика? Существовал ли реальный Св.Людвик?"

Таким образом, новая книга Ж.Ле Гоффа экспериментальна. Неудивительно поэтому то большое внимание, которое отводится в ней методологическим вопросам, в частности, связанным с жанром биографического исследования как исследования социокультурного. Они занимают центральное место также и в данном обзоре.

Обращение к жанру биографии - это обращение к истории персональной, к индивиду, личности, к герою - его поступкам, действиям, внутреннему миру, словом, к индивидуальному в истории. Сама по себе эта ориентация, вышедшая сегодня на передний план, как бы не является абсолютно новой для исторической науки. Действительно, интерес к исключительному, героическому в общем-то стоит у истоков европейского историописания. Но менялись времена, смещались акценты, выдвигая на авансцену исследования интерес к массовым явлениям и процессам. Интерес к индивиду хотя и присутствовал, но оставался сугубо формальным, не выходил за пределы описаний "в контексте эпохи", к тому же, как полагали, "диктующей" свои жесткие правила игры и поведения и в отблеске которой собственно индивидуальным проявлениям не оказывалось места.

Именно таким образом обстояло дело и с освещением персонажа исследования Ж.Ле Гофф - Людовиком IX (1214-1270), французским королем из династии Капетингов (с 1226 г.; до 1236 совместно с регентшей - его матерью Бланкой Кастильской). Даже недавние его биографии, принадлежащие перу американца

Уильяма Честера Иордана и француза Жана Ричарда, были вдохновлены не столько личностью самого Людовика IX, сколько завораживающей идеей Крестового похода (Людовик IX возглавлял 7-й и 8-й Крестовые походы; во время последнего умер от чумы) и образом Святой Земли.

Ж.Ле Гофф отходит от этой традиции. Его книга, как подчеркивает он сам, не о "царствовании Людовика Святого", и не о "Святом Людовике и его эпохе" или "Святом Людовике и христианстве", даже если автор и бывает подведен к рассмотрению этих тем" (с.13). В ней речь идет о человеке, о его жизни, действиях, поступках, внутреннем мире. Времени "Св.Людовика" автор касается лишь постольку, поскольку оно составляет ткань жизни и деятельности главного персонажа и позволяет лучше его понять.

Ж.Ле Гофф формулирует свою концепцию биографического исследования и его особых функций в современной историографии, вскрывая одновременно несостоятельность традиционных приемов, весьма живучих еще в области этого исторического жанра. Биографические сочинения, в изобилии появившиеся в последние несколько лет, пишет Ж.Ле Гофф в этой связи, порождают иллюзию легкости работы в этом жанре, где, якобы, достаточно лишь обладать некоей документальной базой и некоторым повествовательным талантом. Их авторы не затрудняют себя критическим анализом документальных свидетельств, подлинным психологическим объяснением действий и поступков своих персонажей, но, с легкостью оперируя понятием "менталитет", сообщают в изобилии анекдоты, изображают "экзотику" прошлого. Историческая биография, как и политическая история в целом, как это с сожалением констатировал в свое время еще М.Блок, слишком долго оставалась в стороне от обновления мышления и исследовательской практики.

Работа над исследованием жизненного пути Св.Людовика, пишет Ж.Ле Гофф, убедила меня в том, что историческая биография - один из наиболее тяжелых "способов делать (писать) историю". Она не только требует от историка обычных для его практики действий - постановки проблемы, поиска и критики источников, обработки их во временном интервале достаточно длительном, чтобы позволить зафиксировать диалектику континуитета и дисконтинуитета самого написания, отражающего понимание автором "дистанции сознания" между ним и обсуждаемым персонажем.

Сегодня, в условиях "интенсивной критической ревизии своей достоверности", которую совместно с социальными науками переживает и история, биографический жанр представляет собой пространство, в котором историк сталкивается также и с принципиальными - "но классическими для его профессии", как подчеркивает Ле Гофф, - проблемами, сложными и острыми, в частности, касающимися отражения им исторической реальности. Биография как особый жанр исторического изучения, полагает автор, имеет возможность стать привилегированным, "свободным от блокировки ложными проблемами" полем научного наблюдения и полезных размышлений относительно "условностей, правил, устремлений (амбиций) ремесла историков, границ их опыта и ревизии дефиниций, потребность в которой настоятельна". Биография позволяет на своем поле, хотя и нелегком, показать "долю участия человека в истории", того, как делается история, "переживающая мутацию" здесь более зримо, чем в каком-либо другом месте (с.15).

Методологически, Ж.Ле Гофф видит свое исследование как тотальную историю. Крупная личность, подобная Людовику, полагает он, организует вокруг себя все исследовательское поле. Он интегрирует не только "ансамбль своего непосредственного окружения", но и все те области, сферы человеческого бытия, "которые выделяет историк в пространстве исторического знания" (с.16).

Людовик IX так или иначе был причастен ко всем им. Он соприкасался одновременно и с экономикой, и с политикой, религиозностью, участвовал в социально-культурной жизни, как-то осмысляя их. И они, в свою очередь, оставляли след в его деятельности. Все это историк должен понимать и объяснить.

В большей мере, чем в отношении других объектов исторического исследования, изучение исторической биографии, пишет Ле Гофф, требует "соблюдения уважения" к лакунам, умолчаниям документов, к разрывам и разъединениям "в единстве воображаемой линии жизни". Вместе с тем, биография - не есть только коллекция всего, что можно, и всего, что должно знать о персонаже. Ле Гофф считает ложным существующее традиционное противопоставление исторической биографии широкому историческому исследованию, как "конкретного" "абстрактному" в рамках, например, политической истории. В то же время, он подчеркивает присущую исторической биографии в большей мере, чем "другим демаршам историков", "нацеленность на эффект реальности". Это достигается здесь особыми, заимствованными у романистов литературно-стилистическими приемами, а также и благодаря источникам, их "соответствующему монтажу" усиливающему "эффект реальности", об истинности которого можно только предполагать" (с.16). Вместе с тем, подчеркивает Ле Гофф, только документы - их наличие и характер определяют пределы амбиций, устремлений историка и диктуют ему границы его анализа. В этом отличие историка от романиста, постоянного его соперника в жанре биографии.

Но важно не только определить круг источников, но и хорошо представлять их жанровую специфику, особенно, когда речь идет о персонах такого масштаба как Людовик IX, король и святой. Историки во все времена, и Средневековье не составляет здесь исключения, были особенно расположены рассказывать о "великих", о "героях", и совсем не интересовались теми, кого мы называем "индивидами". Досье Св.Людовика предоставляет историку широкое поле для сомнений и интерпретации. Здесь больше, чем в любом другом случае, риск если не солгать, то представить воображаемого, мнимого Святого Людовика, выдумать его.

Ж.Ле Гофф дает общую характеристику источниковой базы своего исследования и ее качества, правил и стереотипов, присущих каждому жанру. Главный их корпус составляют агиографические биографии, представляющие не "святого короля", но, согласно идеалам идеологических групп, к которым принадлежали их авторы, раздельно - и короля и святого. Существует также Св.Людовик доминиканцев и францисканцев - "святой нищий", и Св.Людовик доминиканцев королевского аббатства Сен-Дени, "скроенный по национальной модели". Широкий простор для манипуляций, пишет Ле Гофф, открывают литературные источники. Это - преимущественно разнообразные *Vitae* святого, представляющие королевскую персону. Они, хотя и отражают эволюцию концепции святости в XIII в., но жестко стеснены жанром и полны стереотипов. Первая и центральная часть монографии Ле Гоффа как раз и посвящена изучению "правдоподобности" ее источников - условий и состояний выработки исторической памяти о Св.Людовике "как продукции систематики памяти" в XIII в. и начале XIV столетия. Автор подчеркивает, что решая эту задачу, он следовал не только "классическому методу критики источников", но и использовал более радикальные приемы анализа текстов, "как продукции систематики памяти" (с.17). Сама природа этих житий, пишет Ле Гофф, оправдывая это предприятие, одновременно создавала и новую опасность для него. Агиографическое житие есть история, даже если изложение организовано вокруг выражений доблести и благочестия и предполагает в большей своей части каталог чудес. Это открывает возможность, переходя от биографии агиографической XIII в., к биографии исторической конца XX столетия верифицировать глубину различия и противоположности ("которую имели намерение недавно воскресить") между историей нарративной и историей "структуралистской" - еще в недалеком прошлом именовавшейся социологической, а еще раньше - институциональной (с.18).

Однако, пишет Ле Гофф, имея в виду эту линию полемики и критики в адрес историков, нарративна всякая история, потому что размещаясь, по определению, во временной последовательности, она неизбежно ассоциируется с рассказом, повествованием. Но не только это. Прежде всего, само повествование, вопреки тому, во что многие верят, продолжает рассуждение Ле Гоффа, даже у самих историков не содержит в себе "непосредственного", прямого, отражения действительности. Оно, в

конечном счете, все целиком суть результат серии интеллектуальных и научных, профессиональных операций, которые имеют одну задачу: сделать рассказ наглядным, убедительным, доказательным.

Повествование также вводит интерпретацию и чревато (и оно тоже) серьезной опасностью. Именно это имеет в виду Жан Клод Пассерон, говоря об "избытке смысла и внутренней связности, присущей в целом биографическому подходу". То, что он называет "биографической утопией", считает Ле Гофф, заключается не только в риске поверить, что якобы допустимо биографическое повествование без критического подхода к отбору материала и его свидетельств, но и в иллюзии, не менее опасной, что историк реконструирует судьбу своего персонажа аутентично.

Однако жизнь, и тем более выдающейся личности, наделенной силой воздействия на реальность, политическую и символическую, подобно королю, предстающему к тому же в ореоле святости - такая жизнь может быть обманчиво рассказана, как predetermined и своей функцией и своим полным совершенства финалом. Не добавляем ли мы, ставит в этой связи вопрос Ле Гофф, к моделям, инспирированным агиографией, еще и модель, внушенную исторической риторикой, имеющей функцией упорядочение хронологического ряда, предание связности, последовательности действиям и поведению выдающейся личности, которой, якобы, неведомы инерция и колебания в принятии решений.

Ле Гофф в своем исследовании стремится избежать подобной, "опасной логики", создающей лишь "иллюзию биографии". Св.Людовик, пишет он, не был ведом в своей судьбе "предзаданными условиями и господствующими моделями XIII в." Он делал сам себя и конструировал свою эпоху так же, как и она конструировала его. И это созидание суть факт случайностей, колебаний, трудностей, выбора. Тщетно, полагает автор, пытаться представить биографию (впрочем, как и любой другой исторический феномен) иначе, чем, как нам известно, она осуществилась.

История не пишется с условным "если бы...". Но исследователь должен чувствовать и понимать, пишет Ле Гофф, что в многочисленных случаях, даже если сам Св.Людовик верил, что история направляется Провидением, вступало в действие нечто такое, что заставляло его поступить именно так, как он поступал, ведь для христианина существует много способов реакции на "провокации Провидения" (с.19).

Ле Гофф стремится в своей книге показать, как постепенно, через непрерывный ряд неожиданных выборов определялась индивидуальность Людовика. Автор прерывает постоянно нить его "биографической траектории", чтобы суммировать и осмыслить проблемы, с которыми его герой сталкивается на различных этапах жизни.

Ле Гофф фиксирует трудности методологического и методического свойства, которые ставит перед историком-"биографом" определение этапных моментов в жизни его персонажа. Так, именно то обстоятельство, что Людовик IX, ставший королем в возрасте 12 лет, долгое время "формировал историю Франции" вдвоем со своей матерью Бланкой Кастильской, являвшейся регентшей, делает невозможным определить время "захвата власти" им, в противоположность, например, тому, как это имеет место для Людовика XIV. Ле Гофф показывает, что важнейшие, этапные моменты жизни Св. Людовика (как, например, рейд против монголов в Центральную Европу, болезнь, поставившая его на грань смерти, освобождение из мусульманского плена в Египте, возвращение из Святой земли в свое королевство после шести лет отсутствия и др.) были результатом его личного выбора. Он должен был принимать тяжелые решения, которые в своей непредвиденности формировали личность, ставшую Св.Людовиком. Она угадывается и утверждается в повседневной практике осуществления своей королевской функции и созидания ("сокровенного, неосознаваемого, неясно выражаемого") своей святости "как образа жизни Святого Людовика".

Ж.Ле Гофф цитирует Дж.Леви, утверждающего, как полагает он с полным основанием, что "биография конституирует... идеальное пространство для верификации, подтверждения свойства промежуточного и тем не менее важного - свободы, которой располагают субъекты действия как будто для того, чтобы уяснить

способ, которым функционируют конкретно нормативные системы, никогда несвободные от противоречий" (с.19). Ле Гофф в своем исследовании стремится оценить пределы свободы, которой обладал его персонаж, - той "возможности, силы", которой снабдили Св.Людовика "природа и пластичность монархических институтов середины XIII в.", "возрастающий престиж священной королевской власти, еще далекой от того, чтобы стать абсолютной". Автор монографии не стремится скрыть противоречия, запечатленные личностью и жизнью Людовика IX: склонности плоти, чревоугодие и благочестивость мэндианта, наряду со строгой аскетической практикой монастырской традиции; пышность и блеск королевского достоинства и смертность суверена, который стремился вести себя если не как самые униженные и несчастные из мирян, то, по крайней мере, как примерный христианин; король, считающий, что нет никого в этой жизни выше его, и человек, который часто подвергал себя смертельному риску, постоянно думал о своей смерти и о смертях; король, который сверх того, что был правителем Франции, мечтал видеть себя главой христианского мира. Внутреннюю противоречивость, неуверенность, сомнения и колебания, проходящие через всю жизнь Святого Людовика, позволяют ощутить, почувствовать почти все его жизнеописание, пишет Ж.Ле Гофф. Но они же утверждают о резком переломе в его жизни (и поведении) где-то после крестового похода. Если перед 1254 г. мы имеем дело с королем, благочестивым, подобно любому христианскому королю, то после этой даты речь идет о суверене, настроенном эсхатологически, кающемся, который готовится и хочет подготовить всех ему подвластных к Вечному спасению. Подобная репрезентация жизни и правления Людовика IX, как показывает Ле Гофф в своем исследовании, находится в зависимости от агиографической модели, которая ищет в житии святого момент "конверсии", "превращения". В то же время, здесь дает знать о себе и библейская модель королевской власти, представляющая Св.Людовика новым Св.Иосифом, царствование которого трактуется Ветхим Заветом "как расщепление надвое" - до и после открытия заново Пятикнижия.

Вместе с тем, Ле Гофф вполне допускает действительную важность, чрезвычайность обстоятельств случайной встречи Людовика IX, возвращавшегося из Св.Земли и только что вступившего на землю Прованса, с францисканцем Хуго де Динем, проповедовавшим миллениаристские идеи и призывавшим к реализации здесь, на Земле "порядка справедливости и мира", как прообраза Рая. Но так ли уж велико различие между королем, почитающим реликвии Страстей Христовых, приобретенные им в 1239, сувереном, верящим судьям, "поборникам справедливости" в 1247 г. и законодателем "Великого ордонанса" конца 1254 г., "который устанавливал моральный порядок в своем королевстве"? (с.20).

Ж.Ле Гофф тщательно анализирует системы и типы аргументации, к которым прибегают средневековые биографы-современники Людовика IX. Действуя в полном согласии с принятой практикой школяров и интеллектуалов XIII столетия, пишет Ле Гофф, они прибегали к трем типам аргументации, переплетение которых позволяет исследователю избежать опасности подпасть под влияние одного какого-нибудь вида рационализации образа изучаемого персонажа. Биографы апеллируют к авторитетам - Святому Писанию и Отцам Церкви, что позволяет им использовать библейские модели. Аргументируя, давая мотивировки, они обращаются к приемам новой схоластики; наконец, они широко используют нравоучительные анекдоты - "передатчики общих мест и стереотипов", формирующие нарративную фантазию и ткань рассказа, смягчающую строгость и сдержанность свидетельств и утверждений, опирающихся на первые два типа аргументации.

Несмотря на всю сложность "рационализированной" "подосновы" биографических повествований, пишет Ле Гофф, они во всех практически случаях позволяют уловить эксплицитно выраженное подтверждение складывающемуся впечатлению, что Людовик IX, хотя и не имел собственного надменного желания видеть себя святым, все же был в некотором смысле "запрограммирован" на это своей матерью и советниками своей юности, и что он сам очень рано стал мечтать о том, чтобы стать воплощением идеала христианского короля. Несмотря на это, Ле Гофф

полагает, что идея воплощения идеала христианского короля была ассимилирована Людовиком "до уровня бессознательного проявления", и что он "ментально и практически совмещал без внутренних мук политику и религию, реализм и мораль". Проведенное исследование, как показывает его автор, позволяет во многих случаях верифицировать это его соображение.

Людовик IX избежал драм, но это не исключало неуверенностей, раскаяний, "разрывов", "нарушений линейности" в его биографии; и в зеркале некоторых свидетельств, пишет Ле Гофф, образ короля выступает "в высшей степени и причудливо деформированным" (с.21).

Исследование биографии Св.Людовика, однако, ярко обнаруживает и ложность широко дискутируемой сегодня проблемы об оппозиции, якобы существующей между индивидом и обществом. Индивид немислим вне разнообразных социальных связей и именно это разнообразие позволяет ему также вести и развивать собственную игру.

Познание и знание общества - необходимое условие понимания того, как формируется и действует там индивидуальность, персонаж биографического исследования в том числе. В своих более ранних работах, пишет Ж.Ле Гофф, им было изучено появление в XIII в. двух новых социальных групп. Это - купечество, которое подвело к проблеме экономики и морали и уяснению их взаимоотношений, - проблеме, возникающей и в связи со Св.Людовиком. Другая социальная группа - "университетские люди", которых автор монографии именует "интеллектуалами". Они оснастили своими лучшими кадрами церковные институты и, в известной мере, также и систему мирского управления. Сверх того, они утвердили "третью власть" - институализированного знания (*studium*), наряду со священной властью церкви и политической властью - княжеской и королевской. С этими интеллектуалами и новой властью отношения Людовика IX были весьма ограниченными.

Ж.Ле Гофф также автор исследования о "загробном институте", "открытом" XIII столетием, - о Чистилище и его обитателях и их взаимоотношениях с живущими. Касающиеся фундаментальной системы представлений высокого Средневековья, эти исследования помогли ему глубже понять Св.Людовика как человека своей эпохи, его ценности, нормы - то, что было для него ординарным и чрезвычайным. Знание социального пейзажа, по выражению Ле Гоффа, открывало ему как исследователю доступ и к "политическому олимпу, и к Раю, и к Чистилищу", но тем самым также и к индивиду.

Проблема индивида является генеральной в современной историографии и одной из сложнейших применительно к эпохе, к которой относится данное исследование. Скорее, пишет Ле Гофф, я должен был бы спросить себя: "Могу ли я получить доступ к нему?"

Рассуждениям на эту тему автор отводит значительное место в своей монографии. На вопрос: "был ли Св.Людовик индивидуумом и в каком смысле?" Ле Гофф отвечает, руководствуясь "разумным", с его точки зрения, различием, предложенным М.Моссом, - между "сознанием своего "Я" и "концепцией индивидуума" (с.22). Св.Людовик, я уверен, пишет Ле Гофф, обладал первым и не ведал второго. Он был, несомненно, первым королем Франции, обнаруживающим индивидуальную манеру поведения и своеобразие в понимании и проявлении королевской добродетели и доблести.

Круг проблем и ракурсов рассмотрения Св.Людовика в книге Ж.Ле Гоффа не исчерпывается обозначенным в этом кратком обзоре авторской концепции. В частности, новое измерение получило в ней рассмотрение занимающей Ж.Ле Гоффа на протяжении всей его творческой жизни проблемы времени (время биологическое; индивидуальное; чувство времени; его соотношения с различными временными конъюнктурами XIII в. - экономик, социальной, политической, религиозной). Св.Людовик, пишет автор, был современником завершения великого экономического подъема, крушения крестьянского серважа, роста социального веса города и горожан, сложения новой организации феодального государства, триумфа схоластики и утверждения благочестия мэндиантов и идеала святой бедности. Ритм этих великих

событий и явлений по-разному перекрещивался с юностью, зрелостью и старостью короля, с фазами его собственного поведения и поступков. Иногда это была гармония, иногда возникала сумятица, ускоряя, торопя историю, а порой и тормозя ее.

Книга Ле Гоффа изобилует глубокими смысловыми ремарками, делающими понимание его героя и его сочленения "со своим временем" более полным, разносторонним. Не следует забывать, пишет Ле Гофф, в частности, что индивиды и целые группы приобретают и конституируют большую часть своих знаний, привычек и навыков в своем детстве и юности, когда они особенно подвержены влиянию более старших по возрасту, родителей, наставников, учителей, стариков. Авторитет последних особенно велик в обществах, где господствует устная традиция. Их хронологический компас ориентирован на время их рождения и жизни. "Люди, - пишет в этой связи Ле Гофф, - дети не только своего времени, но и времени своих отцов". Рожденный в 1214 г., Людовик IX был первым французским королем, который знал своего деда (Филиппа-Августа) и был во многом больше человеком XII в., чем XIII столетия. Он был канонизирован через 27 лет после своей смерти в 1297 г. За эти годы биография его была мощно переработана, появился значительный объем дополнительных свидетельств о его жизни, которые надлежало взять в расчет для канонизации. Историографически, это новый сюжет исторического образа св. короля - "захватывающий, но поднимающий совсем другую проблематику". В этот контекст попадают и записки Жуанвиля, друга и близкого королю человека, диктовавшего свои мемуары более чем через 30 лет после его смерти.

Монография Ж.Ле Гоффа по своей структуре состоит из трех частей. В первой из них - "Жизнеописание Св.Людовика" - автор представляет результаты своего опыта написания биографии короля. Эта часть наиболее повествовательна и ориентирована на проблемы, возникавшие на главных этапах жизни Св.Людовика, - такой, какой он сделал ее сам. Это отражено и в названиях глав: "От рождения до брака (1214-1234)"; "От брака к Крестовому походу (1234-1248)"; "Крестовый поход и пребывание в Святой земле"; "От одного крестового похода к другому и кончина (1254-1270)"; "К святости: от смерти к канонизации (1270-1297)".

Вторая часть - "Создание воспоминаний, памяти о короле: существовал ли Св.Людовик?" - как уже упоминалось, посвящена критическому исследованию произведений, свидетельствующих и рассказывающих о короле. Она имеет целью обосновать положительный ответ на поставленный вопрос о реальности Св.Людовика: как и св.Франциск Ассизский, он - персонаж XIII в., о котором мы осведомлены свидетельствами из первых рук. Он был королем и к тому же святым, пишет Ж.Ле Гофф. В этой части десять глав: "Король официальных документов", "Король мениантских агиографий: св.король обновленного христианства"; "Король Сен-Дени: святой король, династический и "национальный"; "Король *exempla*"; "Прообраз Св.Людовика в Ветхом Завете"; "Король иностранных хроник"; "Король общих мест: существовал ли Св.Людовик?"; "Истинный" Людовик IX Жуанвиля"; "Св.Людовик между моделью и индивидом".

Третья часть - "Св.Людовик идеальный и единственный в своем роде король (от внешнего к внутреннему)" - посвящена внутреннему миру и личности Св.Людовика. Автор цитирует здесь большое число текстов. "Я хочу, - пишет Ле Гофф, - чтобы читатель видел и слышал моего героя, как видел и слышал его я сам, потому что Св.Людовик - первый французский король, голос которого хорошо различим в источниках" (с.25). В этой части также десять глав, названия которых сами по себе несут огромную методическую нагрузку: "Св.Людовик в пространстве и во времени", "Выражения образные (*les images*) и словесные (*les mots*)"; "Слова и жесты: король добропорядочный человек"; "Король трех функций"; "Св.Людовик: король феодальный или современный?"; "Св.Людовик и семья"; "Религия Св.Людовика, конфликты и критика"; "Св.Людовик, священный король, чудотворец и святой"; "Король страждущий, король, уподобляющий себя Христу".

Людовик IX предстает, пишет в исследовании Ж.Ле Гофф, более сложной и значительной фигурой, чем это было принято думать, а его эпоха, время, в которое он

жил - в высшей степени динамичным, наполненным брожением, что, в общем, также плохо согласуется с распространенной общей оценкой XIII в. как "апогея Средневековья". Св.Людовик, резюмирует Ле Гофф главный итог своей книги, - наиболее крупная личность из числа выдающихся индивидуальностей христианского мира XIII в. Этому благоприятствовало его положение во главе "двух фундаментальных иерархий эпохи": мирской королевской власти и спиритуальной иерархии святости. В силу своих личных способностей он сумел обратить себе на пользу и наилучшим образом распорядиться обусловленным этим положением наследием - политическим, экономическим, национальным, духовным достоянием. Все это способствовало конструированию представления о его уникальности и закрепило за его образом ореол героя в исторической памяти поколений (с.890-897).

С.В.АКАТЬЕВА
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ:
ПРОБРАЗ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ⁸.

Для реконструкции типического образа Людовика Святого нам предлагается источник, который стоит на порядок выше предыдущих.

Когда, начиная с V века, появился на свет христианский Запад на развалинах Римской империи, распаду которой способствовали расселившиеся на ее территории варвары, он представлял собою раздробленные территориальные образования, во главе которых стоял предводитель, именовавшийся королем⁹. Монархический режим Средневековья - результат исторической ситуации, вобравшей богатое наследие древних форм государственности. Однако с идеологической точки зрения, доминирующим стало библейское наследие, особенно с тех пор, когда в 752 г. Пипин Короткий был миропомазан на манер Саула или Давида. Монархический идеал был подсказан Ветхим Заветом. Христианские идеологи Средневековья нашли в нем, одновременно, и индивидуальные модели властвования, и теорию “добротого короля”.

Единственный и истинный правитель - Яхве. Земной король должен быть его избранником и приверженцем, служить ему и, в конечном счете, быть его образом. Миропомазание дает королю статус законного и освящает его деятельность и власть. Наряду с первоочередным долгом - служением Богу, король имеет обязательства перед своими подвластными: он должен заставить уважать законы, защищать своих подвластных и, в первую очередь, способствовать воцарению справедливости и мира. Среди королей появится, в конечном счете, тот, кто осуществит мировое правление, король - мессия.

Таковы отличительные особенности царской власти, завещанные Ветхим Заветом королям западного Средневековья. Но существуют также добрые и злые короли. В Библии, эти последние, очевидно, короли-чужеземцы, идолопоклонники, гонители иудеев. Наиболее известные из них - Фараон Египетский, без собственного имени, и персонифицированный Навуходоносор Вавилонский. Но и среди иудейских правителей Ветхого Завета, также существовали добрые и злые. Модель добротого царя, всегда верного Яхве, олицетворял собою Давид, который, тем не менее, не был совершенен. Случай Соломона - более двойственен. В Ветхом Завете отношение к нему, в целом, благоприятно. Однако и здесь уже чувствуется присутствие некоего враждебного течения¹⁰. В Средние века же “царь Соломон был выбран в качестве прототипа злого монарха¹¹”. Легенда о царе Соломоне, сближающая его с Александром Великим, превратила мудрого царя и строителя Храма в сладострастного монарха,

⁸ Сокращенное изложение содержания: Le Goff J. Saint Louis. - P.: Ed.-s Gallimard, 1996. - 2. Partie. La production de la mémoire royale. Ch. V. Préfiguration de Saint Louis dans l'Ancien Testament - P.388-401. Библиографические сведения даны по оригиналу. Референт благодарит И.А.Энгельгардта за консультации по транскрипции имен собственных, библейской и средневековой терминологии.

⁹ Marc Reydellet, La Royauté dans la littérature latine, de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville, Rome, 1981.

¹⁰ F. Langlamet, « Pour ou contre Salomon ? La rédaction salomonienne de l Rois I-II », Revue biblique, 83, 1976, pp. 321-379 et 81-528.

¹¹ Aryeh Grabois, « L'idéal de la royauté biblique dans la pensée de Thomas Becket », dans Thomas Becket (Actes du colloque international de Sédieres, 19-24 août 1973), publiés par R. Foreville, Paris, 1975, p. 107.

идолопоклонника и колдуна. Жертва плотского вождения, Соломон кончает тем, что предаёт себя в руки демонов, которых ранее заставлял возводить храм. Согласно талмудистской традиции, один из них, Асмодей, насмехался над ним специально. Колеблясь между тем, черной или белой магии отдать предпочтение, Соломон, в конце концов, прибегает к поддержке дьявола. Он - Фауст Средневековья¹².

В средневековых *Зерцалах государей*, в официальных королевских церемониях явно воскрешается модель Давида. Впервые она прослеживается на Востоке, где на Халкедонском соборе 451 г. император Марциан был провозглашен *novus David*, "новым Давидом"; на Запад подобная invocatio приходит лишь в 626-627 г. и связана с именем Лотаря II¹³. Жанр "Зерцал государей", собственно говоря, развивается именно в эпоху Каролингов¹⁴. Если смотреть со стороны, ориентир на Давида, либо как на модель идеального правителя, либо как на вдохновителя живущего монарха, представленного в качестве "нового Давида", является более важным¹⁵. Конечно, Карл Великий поощрял¹⁶ то, что придворные привычно называли его Давидом. Но особое распространение такая практика получила, начиная с Людовика Благочестивого. Во время посвящения через миропомазание, этот титул воскрешал идею второго рождения или, скорее, второго крещения государя. Вообще говоря, эта ассимиляция монарха с Давидом необходима для того, чтобы рассмотреть в широко используемом библейском и, особенно, ветхозаветном контексте политическую идеологию Средневековья¹⁷.

Такая установка встречается, главным образом, в раннее Средневековье, в частности, в эпоху Каролингов. Мы увидим, что эта традиция непрерывно продолжается и остается очень злободневной, например, в XIII веке. Вне всякого сомнения, из всех библейских царей, именно Давид познал наибольший успех. Измарагд в одном из наиболее важных Зерцал каролингских государей, *Via Regia (Королевский путь)*, написанном между 819 и 830 гг., предлагал в качестве моделей для подражания христианским принцам, в числе других, Иисуса Навина, Давида, Езекию, Соломона и Озию¹⁸. За этими библейскими царями Измарагд признавал большую часть добродетелей, необходимых королю: *timor domine, sapientia, prudentia, simplicitas, patientia, iustitia, iudicium, misericordia, humilitas, zelum rectitudinis, clementia, consilium*¹⁹.

Вышло даже так, что ветхозаветной моделью средневекового монарха был не король, но патриарх или пророк. Одна немецкая хроника упоминает Фридриха Барбароссу, отправляющегося в Крестовый поход в 1188 г., *quasi alter Moyses* ("как

¹² Alexandre Cisek, « La rencontre de deux "sages" : Salomon le "Pacifique" et Alexandre le Grand dans la légende hellénistique médiévale », dans Images et signes de l'Orient dans l'Occident médiéval, Senefiance, n° II, 1982, pp. 75-100. Cf. Marc Bloch, « La vie d'outre-tombe du roi Salomon », Revue belge de philosophie et d'histoire, 4, 1925, repris dans Mélanges historiques, t II, Paris, 1963, pp. 920-938. Il y eut pourtant, au XIIIe siècle, une réhabilitation de Salomon comme modèle du roi sage. Voir Philippe Bue, L'Ambiguïté du livre. Prince, pouvoir et peuple dans les commentaires de la Bible au Moyen Âge, Paris, 1994, pp. 28-29.

¹³ Eugen Ewig, « Zum christlichen Königsgedanken im Frühmittelalter », dans Das Königstum. Seine geistigen und rechtlichen Grundlagen, Mainauvorträge, 1954 (Vorträge und Forschungen, éd. Th. Mayer, t. III), Lindau et Constance, 1956, pp. 11 et 21; Frantisek GRAUS, Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der Merowinger, Prague, 1965, p. 344, n. 223.

¹⁴ L. K. Born, « The Specula Principis of the Carolingian Renaissance », Revue belge de philosophie et d'histoire, 12, 1933, pp. 583-612 ; H. H. ANTON, Fürstenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit, Bonn, 1969 ; Walter Ullmann, The Carolingian Renaissance and the Idea of Kingship, Londres, 1969.

¹⁵ H. STEGER, David rex et propheta. König David als vorbildliche Verkörperung des Herrschers und Dichters im Mittelalter, Nuremberg, 1961.

¹⁶ Ernst H. KANTOROWICZ, Laudes regiae. A Study in Liturgical Acclamations and Mediaeval Ruler Worship, Berkeley et Los Angeles, 1946, pp. 53-54 ; Robert FOLZ, Le Couronnement impérial de Charlemagne, Paris, 1964, pp. 97-98 et 118-120.

¹⁷ Percy Ernst Schramm, « Das Alte und das Neue Testament in der Staatslehre und der Staatssymbolik des Mittelalters », dans Settimane di studio del Centro italiano di studi sull' Alto Medioevo, 10, Spolète, 1963, pp. 229-255.

¹⁸ Patrologie latine, vol. 102, col. 934 sqq.

¹⁹ "Страх божий, мудрость, благоразумие, простодушие, терпение, справедливость, правосудие, сострадание, смирение, усердие порядочности, милосердие, [добрый] совет."

второго Моисея”)²⁰. Аналогичным образом Гильом из Шартра сравнивает Людовика с Моисеем: “И тогда Господь сказал Моисею: “Смотри, делай по тому образцу, какой показан тебе на горе”, так каждому из нас было указано и показано, что он должен делать на этой высокой горе, - то есть совершенство достоинства и благородства этого прославленного короля, очевидность его доброты и возвышенность его жизни²¹.”

Жоффруа из Болье сравнивает Людовика с Авраамом с тем, чтобы поставить его над патриархом: “И если мы возносили хвалу Аврааму за его справедливость, ибо однажды он пожелал отдать своего единственного сына, по велению Господа, Господь, разве не посчитает он этого царского верноподданного более достойным вечной справедливости и вознаграждения в конечном итоге, того, кто не один раз, но дважды смиренно ожидал смерть, его и его братьев, и цвет армии всего его королевства ради служения Спасителю; особенно, во время этого последнего религиозного неудачного Крестового похода из Туниса, когда со своими сыновьями и всей своей армией, возбужденный святой ревностью к христианской вере, он удостоился стать жертвой ради Христа, когда, как мученик и неумолимый поборник Господа, он завершил в Господе счастливый остаток своей жизни²².” Изображая Людовика жертвой и мучеником, Жоффруа выводит его “*super Abraham*”. Бонифаций VIII отклонит эти преувеличения, но тут же сделает из Людовика “сверхчеловека”²³. В проповеди, которую он произносит в день канонизации Людовика Святого, в воскресенье 11 августа 1297 г., папа Бонифаций VIII сравнивает святого короля с Самуилом, чье имя означает *obediens Deo*, “подчиняющийся Богу”, ибо Людовик Святой “подчинялся Богу до самой смерти²⁴”.

Давид и Соломон

Для идеального или идеализированного короля важнейшими являются характеристики библейских царей. В *Житии Роберта Благочестивого*, написанном возможно сразу после смерти короля, в 1031-1033 гг., бенедиктинец Эльго из Флэри восемь раз упоминает Давида и утверждает, с первых строк своего сочинения, а затем повторяет вплоть до конца, что никто из королей не проявил столько добродетелей, не совершил столько добрых дел со времен “святого царя и пророка Давида²⁵”. На XII век приходится приток сравнений современных правителей с библейскими царями. В действительности, речь идет о том, чтобы дать основание в Священной истории монархии, которая утверждается, прежде всего, в Англии, Испании, а вскоре и во Франции. Новое готическое искусство, искусство королевское, вводит и развивает две принципиальные иконографические темы, возвеличивающие королей: королевские порталы и древо Иессея. Великий идеолог и министр королевства франков времен рождения готики, Сугерий, демонстрирует, на скульптуре и витражах, две темы, которые есть ни что иное, как два выражения одной и той же монархической идеологии. Типологический символизм, согласно которому, каждому персонажу, либо событию Нового Завета или современного мира, соответствует персонаж или событие-модель Ветхого Завета, благоприятствует этой идеологической программе. Библейские цари и царицы свидетельствуют в защиту сегодняшних королей и королев.

²⁰ Gesta Treverorum Continuatio, dans Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, t. XXIV, Leipzig, 1879, pp. 388-389, cité par E. A. R. Brown, « La notion de la légitimité et la prophétie à la cour de Philippe Auguste », art. cité (supra, p. 79 n. 4), p. 87.

¹⁴ Guillaume de Chartres, De Vita et Actibus Inclitae Recordationis Regis Francorum Ludovici et de Miraculis quae ad Sanctitatis Declarationem Contingerunt, dans Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XX, éd. Cl. Fr. Daunou et J. Naudet, Paris, 1840, p. 30.

²² Geoffroy de Beaulieu, Vita et sancto conversatio piae memoriae Ludovici quondam regis Francorum, dans Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XX, éd. Cl. Fr. Daunou et J. Naudet, Paris, 1840, pp. 3-4.

²³ Voir infra, p. 826.

²⁴ Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XXIII, p. 153.

²⁵ Helgaud de Fleury, Vie de Robert le Pieux, texte édité, traduit et annoté par R.-H. Bautber et G. Labory, Paris, 1965, sub verbo et notamment p. 58 et p. 138.

И эта родственная связь, которая проходит от Иисуса до Давида, затем к Марии и Иисусу, сообщает монархии сакральную генеалогию в то время, когда неодолимо утверждаются ценности и образ мышления генеалогической культуры²⁶. В конце концов, отныне король - не только божий избранник, миропомазанный Богом, но и его образ. *Rex imago Dei*: “Король - образ Бога”. Король - это Бог на земле²⁷.

При этом возвышении статуса короля, судьба Соломона, модели, как мы видели двойственной, претерпевает резкие изменения.

Томас Бекет, знаменитый архиепископ Кентерберийский XII века, проповедовал, как хорошо показано, “идеал библейского царствования”²⁸. Бекет предстает центральной фигурой в конфликте, противопоставляющем церковь английскому королю Генриху II. Невозможно сравнивать Генриха с Давидом, поскольку последний, наряду со своими великими заслугами, тяжело грешил в личной жизни, совершая прелюбодеяния и убийства, он не упорствовал и смирился перед пророком Нафаном. Яхве, погубив ребенка Давида и Вирсавии, простил Давида и позволил ему иметь второго ребенка от Вирсавии, - Соломона (II Самуил 12)²⁹. В ответ на это, Бекет видит в злобном Соломоне предвосхищение Генриха II. В отличие от Давида, Соломон, тоже сластолюбец и, в конечном счете, идолопоклонник, не раскаялся, и Яхве наказал его, разделив надвое царство Израиля после его смерти (I Цар 11). Столкновения Генриха II Английского с его Церковью и, наконец, убийство Томаса Бекета привели английских клириков к тому, чтобы дьяволизировать фамилию Плантагенетов, корни которой они вывели из рода сатанинской Мелюзины. В Зерцале государей, *De principis instructione* (“О наставлении государя”), написанном примерно между 1190 и 1217 гг., Жиро Уэльский, советник Генриха II, рисует в черном цвете портрет покойного короля и, отказываясь его сравнить с Давидом и Августом, воскрешает в памяти, по этому случаю, Ирода и Нерона³⁰. Враждебно настроенный по отношению к английской династии, Жиро воспеваает хвалу французской монархии и ее здравствующему королю, Филиппу Августу, его сыну и наследнику Людовику, будущему Людовику VIII. Разногласие между английской королевской властью и Церковью Англии, враждебность Римской Церкви, обозначившаяся вследствие расправы с Томасом Бекетом, переросли в продолжительную ненависть, что было на руку французской монархии. Тот престиж, заимствованный в ветхозаветной монархии, который король Англии утратил, король Франции, покорный Богу и Церкви, приобрел. Посредством художественной пропаганды, размножившей на церковных порталах и витражах статуи и фигуры царей и цариц Израиля и Иудеи, в XIII в. происходит становление блестящей живописной композиции - древа Иисуса, аккумулировавшего типологический символизм библейского наследия.

Французский правитель приобретает двойное возвышение в плане монархической идеологии, основанной на ветхозаветной традиции. Первое представлено моделью Соломона. Сын Давида, к тому времени, приобрел двойственную репутацию. С одной стороны, он перенес все возрастающую дьяволизацию, как было отмечено, с другой стороны, он остался строителем Храма, образчиком богатства и мудрости. Именно благодаря своему второму аспекту, его образ все чаще стали приписывать правителям той эпохи под влиянием *Policraticus sive de nugis curialium* (“Поликратик или ничтожество придворных”), Зерцала государей, представляющего новый монархический идеал, для создания которого Иоанн Солсберийский предложил новый образ доброго короля: короля просвещенного, иначе - интеллектуала³¹, или же *мудрого (sapiens)* короля Ветхого Завета, то есть Соломона. Хронист использует момент переоценки модели Соломона, которая утверждается параллельно с его сатанизацией и ей в противовес.

²⁶ G. Duby, « Le lignage », dans P.Nora (éd.), *Les Lieux de mémoire*, t.II, La Nation, vol.1, Paris, 1986, pp. 31-56.

²⁷ Wilhelm Berges, *Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters*, Leipzig, 1938, p. 24 sqq.

²⁸ A. Grabois, « L'idéal de la royauté biblique dans la pensée de Thomas Becket », art. cité.

²⁹ Необходимо внести уточнения и соответствия между Иерусалимской Библией, французским переводом Вульгаты и Синодальным переводом. Так, книга I Самуил, упоминаемая Ле Гоффом, соответствует Первой книге Царств в русском издании; I Цар (Вульгаты) - 3 Цар (Синодального перевода). В статье сохранен справочно-библиографический аппарат, предложенный Ж. Ле Гоффом. (A.C.).

³⁰ Robert Bartlett, *Gerald of Wales, 1146-1223*, Oxford, 1982, p. 712.

³¹ Voir infra. p. 406-407.

Второе возвеличивание связано с Иосией. Иосия оказывается не часто в числе библейских монархов, которые служили моделью для королей западноевропейского Средневековья³². Однако, кажется, что именно с ним Людовика Святого предпочитали сравнивать.

Определенно, современники Людовика Святого сравнивали его, прежде всего, с библейским царем Давидом. Именно о таком случае свидетельствует Проповедь Гильома из Сен-Патю³³. Он признает за ним четыре основные добродетели (*splendor sapientie, dulcor compassionis, nitor continentie, fervor devotionis*³⁴), две первые из них относятся к характеристике библейского короля: “*David sedens in cathedra sapientissimus princeps*”³⁵ (II Самуил 23, 8) и “*Servus meus David erit princeps in medio eorum*”³⁶ (Иезекииль 34, 24). Параллель с Давидом, наконец, имеет место в четвертой литургической службе на праздник Людовика Святого, 25 августа, - службе, по всей видимости, бенедиктинской, описание которой зафиксировано впервые в манускрипте Сен-Жермен-де-Пре, вскоре после его канонизации в 1297 г.³⁷ Тема проповеди Гильома из Сен-Патю влечет сравнение Людовика Святого с Маттафией, отцом Маккавеев, поскольку в ней заходит речь о словах, адресованных этому правителю через посланников Антиоха: “*Princeps clarissimus et magnus es*”³⁸ (I Макавеев 2,17). Однако более знаменательно - появление, наряду с моделью Давида, модели Соломона в *ordo* (чине) посвящения и коронования королей Франции, который восходит примерно ко времени правления Людовика IX³⁹. Марк Блок заметил, что “пример Давида и Соломона позволяет, в духе христианской традиции, возратить королям их сакральный характер”⁴⁰. Эти два имени звучат регулярно в *ordines*, во время посвящения на трон. В *ordo*, о котором только что говорилось, после того как король прознесет клятву во второй раз, один из епископов в молитве к Господу просит Его посетить короля, как некогда Моисея, Иосию, Гедеона, Самуила, и излить на него росу своей мудрости, которая проступила на челе блаженного Давида и его сына Соломона. Кроме того, в то время как архиепископ Реймса совершает миропомазание рук короля, он воскрешает в памяти миропомазание Давида Самуилом. Наконец, в молитве, читаемой сразу после совершения этого таинства, сквозит намек на возведение Давида к верховной царской власти и о даре мудрости и мира, данном Богом Соломону. И Бога просят наделить короля той же верностью, что и Авраама, добросердечием, как Моисея, такой же смелостью, как Самуила, смирением Давида и такой же мудростью, как Соломона.

Наконец, в проповеди от 11 августа 1297, посвященной канонизации Людовика Святого, римский папа Бонифаций VIII развивает библейскую тему: “*Magnificatus est ergo rex Salomon, super omnes reges terrae, divitiis et sapientia*”⁴¹ (1 Царств 10, 23). Зачастую, без упоминания имени Соломона и не говоря о его могуществе, богатстве и мудрости, воспетых в Священной Книге, он модифицирует цитату, путем ввода

³² Во всяком случае, “в предисловии к Admonitio generalis 787 г. Карл Великий сравнивается с царем Иосией, который стремился восстановить царство, порученное ему Богом во время истинного богослужения” (Pierre Riché, Les Carolingiens, Paris, 1983, p. 123). Я ожидаю в ближайшее время публикацию диссертации Dominique Alibert, Les Carolingiens et leurs images. Iconographie et idéologie, (université de Paris IV, 1994). Я упоминаю здесь выводы из моего исследования «Royauté biblique et idéal monarchique médiéval : Saint Louis et Josias », dans Les Juifs au regard de l'histoire. Mélanges Bernhard Blumenkranz, Paris, 1985, pp. 157-168.

³³ Voir supra, p. 342 n. 1. Трудность вызывает установление времени написания проповеди: до или после появления редакции Жития. Но в проповеди соержатся детали, с определенностью можно сказать, извлеченные из Жития, утраченного в папской курии. План проповеди, опубликованный Н.-F. Delaborde, позволяет проследить, что Гильом из Сен-Патю, по крайней мере, два раза обращался к Давиду как к модели Людовика Святого.

³⁴ “Величие мудрости, нежность сострадания, чистота воздержания, ревностное благоговение”.

³⁵ “Давид сидит на престоле, мудрейший царь.”

³⁶ “И раб Мой Давид будет князем среди них”.

³⁷ Robert Folz, «La sainteté de Louis IX d'après les textes liturgiques de sa fête», Revue d'histoire de l'Église de France, 57, 1971, p. 36.

³⁸ “Ты вождь, ты славен и велик”.

³⁹ Théodore et Denis Godefroy, Le Cérémonial français, Paris, 1649, t. 1, p. 17. Ordo представляет собой руководство по проведению литургии посвящения сакрализованного персонажа, например, епископа или короля.

⁴⁰ M. Bloch, Les Rois thaumaturges, op. cit. (supra, p. 286 n, 2), p. 68.

⁴¹ “Царь Соломон превосходил всех царей земли богатством и мудростью” (В Синодальном переводе - 3 Цар 10, 23).

эпитета, соответствующего скорее новому святому, а не библейскому монарху: *pacificus* (“*Rex pacificus magnificatus est*”⁴²).

Людовик и Иосия

Иосия возникает мимоходом в Зерцале государей времен Людовика Святого, *De eruditione filiorum nobilium* (“Об образовании сыновей знатных”), написанном доминиканцем Винсентием из Бове для клирика по имени Симон, который был магистром, обучавшим сына короля - Филиппа, будущего Филиппа III Смелого⁴³. Доминиканец, возносящий хвалу детству в то время, когда ребенок начинал все более цениться в обществе, до этого не придававшего ему значимого веса, утверждал, что по божественному избранию, “первые и лучшие” короли Израиля были детьми⁴⁴. В качестве примера он приводит Давида (“*iunior inter fratres suos*”), (I Самуил 16, 11) и Иосию, который начал царствовать в восьмилетнем возрасте (II Цар 22,1)⁴⁵. Винсентий из Бове, без всякого сомнения, проводит параллель с Людовиком IX, коронованным в возрасте двенадцати лет. Но он и не помышляет о капетингской политике наследования престола согласно праву первородства, поскольку эта династическая политика отражает в то время эту тенденцию скорее на практике, чем в теории.

Имя Иосии звучит и в литургических канонах в память о канонизированном Людовике Святом. В третьем из них (в первом песнопении третьей части заутрени), тема детства появляется вновь: “С детства Людовик Святой всем сердцем искал Бога, подобно царю Иосии⁴⁶.” Впрочем, в гимне *Laudes (Падуйтесь)* во второй службе сказано, что Людовик Святой, как Иосия, “усердно поклонялся Богу в молитвах и деяниях⁴⁷”. Агиографы Людовика Святого говорят о его набожности в тех же словах, которые адресованы Иосии в Ветхом Завете⁴⁸: “Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всею душою своею, и всеми силами своими” (II Царств 23, 25⁴⁹).

Сравнение Людовика IX с Иосией явилось находкой его первого биографа, духовника в течение последних двадцати лет жизни короля, доминиканца Жоффруа из Болье. Он написал о жизни Людовика Святого по поручению папы Григория X, который уже в 1273-1275 гг. мечтал о канонизации безвременно ушедшего короля⁵⁰. Еще в начале своего произведения Жоффруа заявляет о том, что, при прославлении Людовика IX, он руководствуется похвалой в адрес Иосии, произнесенной в Библии. При этом он использует три отрывка из Ветхого Завета: Экклесиастик, гл. 40 ; II Царств, гл. 22; Паралипоменон, гл. 34. В 40-вой главе Экклесиастика сказано:

Воспоминание об Иосии есть смесь эссенции,
приготовленной заботами парфюмера,
Как мед сладки его уста, как музыка - его речь на торжестве.
Он сам последовал верному пути - обратиться к вере своей на род,
он искоренил омерзительное неверие,
он направил свое сердце к Господу,

⁴² Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XXIII. p. 152 («Миролюбивый король - возвеличен», тема гласила: “Соломон был возвеличен над всеми царями земли благодаря своему богатству и мудрости”).

⁴³ Vincent de Beauvais, *De eruditione filiorum nobilium*, éd. A. Steiner, Cambridge (Mass.), 1938, rééd. New York, 1970.

⁴⁴ Voir supra, pp. 88 sqq., о короле-ребенке. Насчет придания большего значения ребенку, см.: P. Riché et D. Alexandre-Bidon (*L'Enfance au Moyen Âge*, op. cit., supra, p. 89).

⁴⁵ Vincent de Beauvais, *De eruditione filiorum nobilium*, op. cit., éd. citée, 1.87.

⁴⁶ R. Folz, art. cité, p. 34 n. 22 : “*Toto corde cum rege Josia quiesivit Deum ab infantia*».

⁴⁷ Ibid., p. 38 : «*culta colebat sedula Deum verbis et actibus*».

⁴⁸ «*Similis illi non fuit ante eum rex, qui reverteretur ad Dominum in omni corde suo, et in tota anima sua, et in universa virtute sua.*»

⁴⁹ В Синодальном переводе - IV Цар 23, 25 (А..С.).

⁵⁰ Geoffroy de Beaulieu, *Vita*, pp. 3-26.

во времена нечестивые он показывал пример благочестия⁵¹.

Исходя из истории Иосии, рассказанной в главе 22 второй книги Царств и в 34 главе второй книги Хроник, Жоффруа из Болье делает следующее резюме: “Еще будучи ребенком, Иосия начал искать Господа и делал то, что было правильно и приятно Богу, и ходил он всеми путями Давида, своего отца⁵². Он не сворачивал ни направо, ни налево. Имя его матери было Иедида. Он приказал восстановить храм и дом Господа. До него не было короля, кто так вверился бы Господу всем своим сердцем, всей душой и со всей силой; и после него не было ему подобного. Он действительно был пасхальным агнцем, равного которому не было ни до него, ни после”. И Жоффруа добавляет: “Все это, как я покажу, хорошо применимо к нашему славному королю”.

Из всей гомологии он разбирает три момента: *имя* Иосии соответствует Людовику (Louis); оба ведут святую жизнь, христианнейшую и чистую.

Хорошо известно о важном значении *имени (nom)* в Средневековье; оно есть сущность, правда о личности, его носящей. Влияние псевдонаучной этимологии слов позволяет обнаружить свой глубокий *смысл*. Так, имя Иосии может быть интерпретировано четырьмя разными способами, все из них соответствуют Людовику Святому. Итак, его имя может означать *Salus Dominis, Elevatio Domini, Incensum Domini, Sacrificium*. Кто более Людовика потрудился во спасение христианства, на благо возвышения и укрепления христианской веры, благоговейно почитая Господа, пожертвовав своей жизнью во время Крестового похода? Королевская жертва, как скажет Жуанвиль, Людовик Святой, подобно Христу, умер перед Тунисом в три часа пополудни.

Далее, Людовик был, подобно Иосии, невинен и праведен. В этом он брал пример, как и Иосия, со своего отца. Для Иосии его отцом был Давид, как объясняет Жоффруа из Болье, используя термин *pater* в письме и таким образом интерпретируя его (не как “предок”, что более бы соответствовало), хотя реальным отцом Людовика IX был Людовик VIII, который показал свою веру и справедливость, ведя Крестовый поход против альбигойцев, и умер по возвращении из него. Таким образом, рассматривая во времени два схожих эпизода, Жоффруа сопоставляет две пары отца и сына: Давида и Иосию, Людовика VIII и Людовика IX. Кроме того, Людовик IX имеет двух отцов: земного, который также есть модель для подражания, и символического отца, который сам был в предшествующей истории сыном отца - модели. Более того, следуя выражению *non declinavit ad dexteram neque ad sinistram* (“он не сворачивал ни направо ни налево), Людовик IX также получает характеристику короля, данную Исидором Севильским: *rex a recte regendo*.

Наконец, наиболее знаменательным, возможно, является то, что Жоффруа из Болье отводит предопределяющую роль фразе из второй книги Царств, в которой упоминается мать Иосии, Иедида. Он использует ее, чтобы прославить мать Людовика, Бланку Кастильскую и, таким образом, представить Святую королевскую Семью: отца, Людовика VIII, мать Бланку, сына Людовика IX, который больше выступает как *imago (образ)* Иисуса.

Остальная часть *Vita* разворачивается в соответствии с агиографической практикой эпохи, умело сочетая историческую последовательность (куда Жоффруа время от времени вкрапляет собственные доказательства) с развернутым описанием добродетелей короля. Модель Иосии всегда подразумевается, но редко выступает на поверхность. Имя библейского короля возникает в связи с актом покаяния и исповеди и, особенно, в связи с религиозной правовой практикой, мерами против хулителей и богохульников, а также связано с усилиями Людовика Святого, стремящегося восстановить соблюдение христианских законов в своем королевстве. Здесь он целиком

⁵¹ Ж. Ле Гофф приводит отрывок из Bible de Jérusalem. Не располагая данным изданием на русском языке, мы предлагаем свой перевод. (А.С.).

⁵² Ж. Ле Гофф в примечании: “В действительности, Давид был лишь его предком”.

заслуживает имени Иосии, ибо как он “*tulit abominaciones impietatis, et gubernavit ad Dominum cor suum et in diebus peccatorum corroboravit pietatem in cultum divinum*”⁵³.

Прекрасный проповедник и беллетрист, Жоффруа из Болье заканчивает *Vita*, возвращаясь к Иосии и к своей первой библейской цитате: “Что же еще нам остается, как не вечная память такая свежая, сладкая как мед, такая мелодичная в Церкви Бога нашего Иосии?” Людовик IX есть не только “второй”, “другой” Иосия, он - *наш* Иосия. Что же сказать, если не то, что Людовик IX - он не только Иосия нашей эпохи, для нас это наш Иосия, тот, кто снова дает жизнь “священной истории”?

Продолжатель Жоффруа из Болье, Гильом из Шартра, также доминиканец, который был капелланом короля, но писал после канонизации короля, т.е. после 1297 г., в конце концов, вновь намечает связь с Иосией. Он воспроизводит в сжатом виде библейский текст о *memoria Josiae*, намекая на имя Иосии, но память о нем быстро исчезает в благоговии и музыке. Иосия больше - не кто иной, как “благоухающее воспоминание”⁵⁴.

Глубинная мотивация сравнения Людовика Святого с Иосией мне кажется заключается, в конечном счете, в отрывке, уже упоминаемом выше, в котором Жоффруа из Болье сближает последние годы правления Людовика Святого с последними годами царствования Иосии. Биографы и агиографы Людовика Святого единодушно выделяют в его жизни и его правлении два важных периода: до и после Крестового похода 1248 года. Конечно, с детства король добродетелен и благочестив, и это естественно, за исключением может быть его пристрастия к этой аванюре, вышедшей из моды, - Крестовому походу. Он одевается и ест согласно своему рангу, часто забавно. Он ставит превыше всего справедливость, вершимую королевскими судьями, но не принимает много законов. После 1254 года он ведет аскетическую жизнь, мечтает установить для своих подвластных законы нравственного и религиозного порядка: против игр, проституции, богохульства; он почти болезненно толкает своих судей на места к тому, чтобы они стали настоящими инквизиторами и королевскими уполномоченными. В себе самом и у своих подвластных он хочет искоренить грех, который послужил причиной неудачи Крестового похода в Египте. Он считает долгом укрепить религию с тем, чтобы удостоиться чести заслужить победу во втором Крестовом походе или, по крайней мере, найти там мученический венец.

А что же нам говорит Библия об Иосии (II Цар, гл. 22-23)? В течение двадцати восьми первых лет своего царствования, “делал он угодное в очах Яхве, и ходил во всем путем Давида, своего предка, и не уклонялся ни направо, ни налево”. Но ничего более. Затем, в лето двадцать восьмое своего царствования, он приказал восстановить храм и обнаружил там книгу Закона, т.е. Второзаконие. Иосия и его народ в торжественной процессии поднялись в храм Яхве. Иосия восстановил альянс, разрушил все остатки язычества в Иудейском царстве, включая пристанище жриц, священных блудниц, при храме Яхве и, успешно проведя религиозную реформу, он отпраздновал грандиозную Пасху в честь Яхве в Иерусалиме. Позднее, он умер в Мегиддоне, в ходе борьбы с Фараоном, который готовился к захвату его королевства. Тело его было привезено обратно в Иерусалим.

Кто не заметит сходства между двумя правителями и двумя царствованиями? Итак, в этом традиционном сравнении королей средневекового христианства с царями Ветхого Завета просматривается новый смысл. В XIII веке, помимо абстрактного сравнения двух правителей, базирующегося на чисто идеологическом уровне, объединяет которых лишь то, что они воплощают или стремятся явить собою модель угодного Богу государя, стоит иметь в виду и нечто другое. Отныне, требуется также и

⁵³ “Он вызвал отвращение к неверию и управлял своим сердцем, направляя его к Господу и, во времена греха, он укреплял свою веру в богослужении”.

⁵⁴ Guillaume de Chartres, *De Vita et de Miraculis*, p. 29. Эти ароматические метафоры намного важнее, чем мы могли бы думать. Jean-Pierre Albert показал, как они задействованы в королевской идеологии и модели Христа. *Odeurs de sainteté. La mythologie chrétienne des aromates*, Paris, 1990.

определенное *историческое сходство*. С этого времени, вместо того, чтобы мобилизовать лучшую модель царя Ветхого Завета, Давида, предпочитают сравнивать Людовика Святого с королем, разумеется добрым, но чье правление особенно, в некотором роде превосходило правление короля Франции.

Итак, эти два короля видятся так, что их образы накладываются друг на друга по трем схожим временным траекториям: символического времени истории, где современная история есть не что иное, как отображение времени великого библейского прошлого; главным образом, эсхатологического времени, в котором каждый суверен старается повести свой народ к своему Богу для его вечного спасения; но также и исторического времени, в котором те событийные моменты возникают вновь, но в котором короли и их правление больше не взаимозаменяемы. Необходимо, чтобы они были бы схожи, подобно тому, как искусство стремится к сходству с миром, портрет - с индивидом, ибо то, что Людовик Святой стремится заимствовать у Иосии, парадоксально и с возможно неполным успехом, - это *историческая* самобытность и *индивидуальность*. Но остановимся у этой границы, которую пара Людовик Святой - Иосия будто бы переходит, попадая из вневременного символизма в историю. Вместе с Иосией, создатели памяти еще не извлекли Людовика Святого из типологической абстракции. Он - не кто иной, как Иосия *bis*, перевоплощение Иосии.

ОБЛАСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Л.П.РЕПИНА

ОТ “ИСТОРИИ ЖЕНЩИН” К СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ: ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НОВАЯ КАРТИНА ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОШЛОГО (ОБЗОР)(ПРОДОЛЖЕНИЕ)⁵⁵

Гендер, власть и “теория разделенных сфер”

Во многих научно-исторических публикациях последнего десятилетия вводится различие между обладанием, с одной стороны, легитимной политической властью, формально признанным авторитетом, дающим санкционированное обществом право принимать обязательные для других решения, и с другой - возможностью оказывать на людей и события неформальное влияние, т.е. воздействовать на них для достижения своих целей. В соответствии с этим расширяется и понимание политической истории, в предмет которой включается не только официальная политика, но и все, что так или иначе касается властных отношений в обществе. Политический аспект стал усматриваться в отношениях не только между королем и подданным, монархом и парламентом, но также и между хозяином и слугой, землевладельцем и держателем, отцом и сыном, мужем и женой. Исходя из этой концепции, ставится вопрос и о роли

⁵⁵ Продолжение. Начало см.: Культура и общество в Средние века и раннее Новое время. Методология и методики современных зарубежных и отечественных исследований: Сб.аналит. и реф. обз./ ИНИОН РАН; Редкол.: Ястребицкая А.Л. (отв.ред.) и др. - М., 1998. - С.171-210. - (Серия: История и теория культуры. Методология отечественной и зарубежной истории). Автор берет на себя ответственность за точность воспроизведения библиографической информации.

гендера в распределении властных полномочий. Сегодня расширенная и обогащенная концепция власти занимает очень заметное место в гендерной истории, поскольку одной из ее центральных задач является изучение возможностей и способности женщины, лишенной доступа к формальным институтам политической власти, оказывать опосредованное влияние на принятие решений в публичной сфере и на действия других людей или групп в условиях патриархального господства⁵⁶.

Понятие "women's power" применяется во множестве работ, рассматривающих воздействие женщин на политические решения и политические события, их роль в экономике и общественной жизни, их влияние на формирование и передачу культурных стереотипов (в том числе посредством собственной творческой работы), а также особенности так называемых женских социальных сетей, или сетей влияния, под которыми понимаются межличностные связи между женщинами или формирующиеся вокруг одной женщины. Очень редко обладая формальным авторитетом, женщины действительно располагали эффективными каналами неформального влияния. Устраивая браки, они устанавливали новые семейные связи; обмениваясь информацией и распространяя слухи, формировали общественное мнение; оказывая покровительство, помогали или препятствовали мужчинам делать политическую карьеру; принимая участие в волнениях и восстаниях, проверяли на прочность официальные структуры власти и т.д. Инструменты и формы этого влияния рассматриваются гендерными историками в рамках различных моделей соотношения частного и публичного, отражающих распределение власти, престижа и собственности через систему политических, культурных, экономических институтов, которая в каждом обществе определяла конкретно-историческое смысловое наполнение понятий "мужского" и "женского"⁵⁷. Иначе говоря, именно исторические изменения в конфигурации частной и публичной сфер общественной жизни выступают как необходимое опосредующее звено в социальной детерминации гендерно-исторической динамики, т.е. в определении траектории и темпов изменений в гендерных отношениях и представлениях. Причем степень жесткости и интенсивности этих связей также менялась.

Историки, антропологи и социологи фиксируют частичное или полное совмещение дихотомии мужского/женского и дихотомии публичного/частного в разных культурах и обществах. Некоторые теоретики, такие, как Мэри О'Брайен, утверждают, что мужчины создали публичные общественные институты для контроля над поведением и деятельностью людей в первую очередь потому, что чувствовали себя отстраненными от самого важного естественного процесса человеческой жизни - рождения. Таким образом, согласно этой гипотезе, расщепление частного и публичного имело в своей основе желание мужчин контролировать биологическое воспроизводство рода человеческого⁵⁸. Но каковы бы ни были действительные первопричины разделения публичного и частного - а установить их невероятно трудно именно потому, что это произошло так давно, за пределами письменной истории - с течением времени оно несомненно претерпело существенные изменения.

Антропологи уже на заре исторического развития, во всех обществах, где имело место выделение публичной власти из частной, фиксируют тенденцию к отстранению женщин от этой публичной власти⁵⁹. Роль женщин в частной жизни и их отношение к публичной сфере стояли в центре проблематики уже упоминавшихся исследований по истории женщин, которые пытались выяснить механизм действия патриархальной системы, сохранявшей в течение многих столетий и в самых разных условиях

⁵⁶ Многие здесь заимствованы историками у антропологов, занимавшихся изучением того, как изменялся статус женщины в публичной сфере. Одной из значительных работ этого направления является монография Пэгги Сэнди "Женское влияние и мужское господство: о происхождении неравенства полов" - Sanday P.R. Female power and male dominance: On the origins of sexual inequality. - Cambridge, 1981).

⁵⁷ Эта концепция стала базовой для целого ряда коллективных проектов. См., например: Women and power in the Middle Ages/ Ed. by M.Erler and M.Kowaleski. - Athens; L., 1988.

⁵⁸ O'Brien M. The Politics of reproduction. - L., 1981.

⁵⁹ Stacey M., Price M. Women, power, and politics. - L., 1981.

подчиненное положение женщин как в сексуально-репродуктивной ("частной"), так и в социально-экономической и политико-правовой ("публичной") сфере⁶⁰. Согласно этим теориям, и "приватизация женщин" в семье, и рост их активности вне дома описывались в терминах оппозиции частного и публичного, индивида и государства, домашнего хозяйства и общественного производства⁶¹.

В классической Греции, где производственная деятельность сосредоточивалась в домохозяйстве, сфера публичного, или полис, была чисто политической, и ею управляла небольшая группа взрослых граждан мужского пола. В Древнем Риме, с его четкой концепцией публичной власти, женщины были исключены из нее со всей определенностью. Но уже в каролингский период, когда действительным центром отправления власти стала курия крупного феодала, а не государство, это различие почти исчезло, что практически свело на нет ограничения властных полномочий женщин-наследниц. С постепенным развитием государственного аппарата и усилением контроля с его стороны влияние женщин снижалось⁶². В целом ряде работ по истории Нового времени приводятся очень убедительные доказательства того, что так называемое освобождение индивида, которое у большинства историков ассоциируется со временем и с воздействием Реформации, подъемом национальных государств и разрушением традиционных общинных структур, не было последовательным и отличалось гендерной исключительностью: через определенный промежуток времени, в XIX в., происходит "второе закрепощение" женщины семейными структурами: создается культ семьи и домашнего очага, который как раз индивидуальной свободе женщины отнюдь не способствовал.

Уже в раннее Новое время маскулинизация публичной сферы усиливается и в теории, и на практике. Гендерные роли и отношения поразительно часто становятся предметом общественного обсуждения. Начало XIX в. отмечено очень высоким уровнем демаркации частного и публичного. Именно публичная сфера, включающая мир политики, юридические права и обязанности, рыночные институты, признавалась сферой "реальной" власти, престижа и могущества. Метафора разделенных сфер, которая зримо выражала и подспудно оправдывала расхождение гендерных статусов, стала - наряду с культом домашнего очага и "кодексом чистоты" - своеобразной ортодоксией общественного сознания и совсем не случайно именно основанная на ней теоретическая модель заняла впоследствии ведущее место в концептуальных построениях и риторике "женской истории". И это несмотря на обоснованные сомнения в ее адекватности и размах экспериментов по деконструкции абсолютизированной дихотомии приватного и публичного как элемента гендерной идеологии викторианской эпохи⁶³.

⁶⁰ Kelly J. Women, history, and theory. - Chicago, 1984. - P.61-62.

⁶¹ Nicholson L.J. Gender and history. The limits of the social theory in the age of the family. - N.Y., 1986. - P.201-208.

⁶² McNamara J.A., Wemple S. The Power of women through the family in medieval Europe: 500-1100// *Clio's consciousness raised* / Ed.by M.Hartman, L.W.Banner. - N.Y., 1974.

⁶³ Gendered domains: Rethinking public and private in women's history/ Ed.by D.O.Helly, S.M.Reverby. - Ithaca; N.Y., 1992; *History and feminist theory*/ Ed.by Shapiro A. - L.; Middletown (Conn.), 1992. См. также: Elshtain J.B. Public man, private woman. - Oxford, 1981; *The Public and the private*/ Ed.by E.Gamarnikow. - L., 1983; Landes J. Women and the public sphere: A Modern perspective// *Social Analysis* - 1984. - V.15, N 4. - P.20-31; Yeatman A. Gender and the differentiation of life into public and domestic domains// *Ibid.*, p.32-49; Hall C. Private persons versus public someones: Class, gender and politics in England, 1780-1850// *Language, gender and childhood*/ Ed.by C.Steedman et al. - L., 1985. P.10-33; *Gender, ideology, and action: Historical perspectives on women's public lives*/ Ed.by J.Sharistianian. - N.Y., 1986; *Labour and love: Women's experience of home and family, 1850-1940*/ Ed.by J.Lewis. - Oxford, 1986; Wiesner M.E. Women's defense of their public role// *Women in the Middle Ages and the Renaissance: Literary and historical perspectives*/ Ed.by M.B.Rose. - Syracuse, 1986. - P.1-27; Davidoff L., Hall C. *Family fortunes: Men and women of the English middle class, 1780-1850*. - L., 1987; Kerber L.K. *Separate spheres, female worlds, woman's place: The Rhetoric of women's history*// *Journal of American History*. - 1988. - Vol.75, N 1. - P.9-39; Poovey M. *Uneven developments: The Ideological work of gender in mid-Victorian England*. - Chicago, 1988; Peterson M.J. *Family, love, and work in the lives of Victorian gentlewomen*. - Bloomington; Indianapolis, 1989; Steedman C. 'Public' and 'private' in women's lives // *Journal of Historical Sociology*. - 1990. - Vol.3, N 4. - P.294-304.

Появление нового взгляда на проблему соотношения сферы частного и публичного было связано именно с развитием теоретических и исторических гендерных исследований. При этом гендерные историки, в значительной степени опираясь на антропологические исследования, которые связывают доминирующее положение мужчин и неравенство полов непосредственно с функциональным разделением человеческой деятельности на частную (домашнюю) и публичную сферы и с вытеснением женщин из последней, вносили в эту схему свои коррективы. Например, во многих работах вопрос о так называемой автономизации частной сферы уходит на задний план. Исходным моментом является понимание зависимости и даже возможности функционирования публичной сферы, в которой почти безраздельно доминировали мужчины, от созидательной деятельности женщин в домашней частной жизни. Семья становится фокусом исследования не только из-за того, что в ней реализуется взаимодействие полов, а потому что именно она является тем местом, где перекрещиваются и воздействуют друг на друга приватная и публичная сферы жизни, местом координации и взаимного регулирования репродуктивной и всех других форм человеческой деятельности.

Новый подход позволил, в частности, описать сложные конфигурации и переплетения классовых и гендерных различий в локальном социальном анализе двух иерархически организованных общностей - семьи и местной деревенской или приходской общины - с характерным для каждой из них комплексом социальных взаимодействий, включающим и отношения равноправного обмена, и отношения господства и подчинения. При этом выяснилось, что гендерная иерархия, действующая на обоих уровнях, лишь на первый взгляд кажется проще, чем классовая. Ее сложность и противоречивость раскрывается только в микроанализе. Как жены были подвластны своим мужьям в семье, так и женщины в общине подчинялись мужчинам, чьи властные позиции в локальном сообществе поддерживались формально - правом - и неформально - общепринятыми правилами повседневной жизни, обычаями и культурными традициями. Однако далеко не все взаимоотношения мужчин и женщин укладывались в эту модель. В некоторых жизненных ситуациях (например в качестве матери, хозяйки, богатой соседки) женщины могли иметь власть над мужчинами⁶⁴.

Один из аспектов проблемы участия женщин во всепроникающей системе властных отношений и их неформального влияния в публичной сфере затрагивает тему женской религиозности. Нельзя забывать о том, что в течение всего Средневековья, хотя и в разной степени, служение госуду давало многим женщинам-настоятельницам (чаще всего из аристократических родов) доступ к властным позициям, пусть и за толстыми монастырскими стенами. В эпоху Реформации религия была одной из немногих сфер, открытых для проявления индивидуальных предпочтений и реализации не востребуемых способностей женщин, для их самостоятельных решений и действий. Хотя женщины формально не участвовали в разработке вопросов религиозной политики и в публичных спорах по вопросам религии, тем не менее это была главная сфера жизни, где они отвечали за себя сами. У них всегда предполагалось наличие религиозных убеждений, которые могли повлечь за собой ситуацию конфликта между двумя авторитетами - людскими суждениями и божьими заповедями. Женщина должна была выбирать между тем, что требует от нее принадлежащая мужчинам политическая и церковная власть, и тем, что - как подсказывал внутренний голос - было ей предназначено Богом. Причем, как это ни парадоксально, именно к библейским примерам благочестивых жен чаще всего обращались ослушницы, стараясь обосновать свои поступки, идущие вразрез с мужскими директивами⁶⁵.

⁶⁴ Amussen S.D. An Ordered society: Gender and class in early modern England. - Oxford; N.Y., 1988. - P.1-33.

⁶⁵ Davis N.Z. City women and religious change// Eadem. Society and culture in early modern France. - Stanford, 1975. P.65-96; Collinson P. The Role of women in the English Reformation// Studies in Church History/ Ed.by G.J.Cuming. V.II. - L., 1975. - P.258-272; Renaissance, Reformation, Resurgence/ Ed.by P. de Klerk. -

В произведениях женщин этой эпохи часто утверждается, что их религиозная деятельность является частным делом и только Бог мог бы быть им в этом истинным судьей. Тем не менее их религиозные убеждения, вступая в противоречие с идеалом покорности и пассивности, иногда являлись побудительным мотивом и внутренним оправданием публичных акций. Вполне естественно, что самые заметные последствия имел религиозный выбор тех женщин-правительниц, которые, оказавшись волею династических судеб на вершине власти, принимали решения и за свою семью, и за всех своих подданных. Но та же возможность религиозного оправдания независимых действий во многом обеспечила массовое участие женщин в радикальных сектах и в религиозно-политических конфликтах эпохи ранних европейских революций в целом⁶⁶.

Возможность высказываться в диспутах по религиозным вопросам (в том числе и в печатной форме, рассчитанной на широкую аудиторию) неизмеримо расширила зону женского влияния в публичной сфере⁶⁷. Тот факт, что большинство публикаций, авторами которых были женщины, касались религиозных сюжетов, был очевидно неслучаен. Вероятно, благочестие являлось одним из наиболее социально приемлемых оправданий вмешательства "второго пола" в исключительно мужскую область деятельности, поскольку "перо - как меч - считалось мужской прерогативой"⁶⁸.

Важное место в обсуждении проблемы "гендер и власть" занимает анализ политического аспекта гендерной дифференциации в западноевропейской истории раннего Нового времени, который чрезвычайно рельефно выявляется именно в эту переломную эпоху. Историческая ситуация и события XVI в., и в том числе появление в результате династических инцидентов во многих странах Европы государей женского пола и регентствующих матерей при несовершеннолетних монархах (Изабелла в Кастилии, Мария и Елизавета Тюдор - в Англии, Мария Стюарт - в Шотландии, Екатерина Медичи и Анна Австрийская - во Франции и др.), оставили яркий след в политической мысли этого времени. Так, характерной приметой многих произведений ее выдающихся представителей и дебатов между ними стало пристальное внимание к неожиданно выдвинувшейся на первый план проблеме, напрямую связанной с тем, что сегодня понимают под термином "социальное конструирование гендера": может ли женщина, рожденная в королевской семье и обученная "монаршему делу", преодолеть ограничения своего пола? Или иными словами: что было (или что следует считать) главной детерминантой в определении социальной роли индивида - гендер или ранг?

Самыми резкими оппонентами женского правления были английские пуритане и шотландские кальвинисты, которые эмигрировали на континент из-за репрессий "Кровавой Мэри" и Марии де Гиз. В своих сочинениях, опубликованных в изгнании, Кристофер Гудман, Джон Нокс и другие сравнивали Марию Тюдор с Иезавелью и доказывали, что правление женщин противоречит природе, закону и Святому Писанию. Разящие инвективы своего трактата "Первый трубный глас против правления женщин", изданного в Женеве в 1558 г., Джон Нокс направлял в адрес и Марии Тюдор,

Grand Rapids, 1976; Bainton R.H. *Women of the Reformation*. - Minneapolis, 1977; Marshall S.W. *Women in the Reformation era// Becoming visible: Women in European history/* Ed.by R.Bridenthal, C.Koontz. - Boston, 1977. - P.165-191; *Womanhood in Radical Protestantism 1525-1675/* Ed.by J.L. Irvin. - N.Y.; Toronto, 1979.

⁶⁶ См.: Parish D.L. *The Power of female pietism: Women as spiritual authorities and religious role models in seventeenth-century England// Journal of Religious History*. - 1992. - Vol.17, N 1. - P.33-46; Mack P. *Visionary women: Ecstatic prophecy in seventeenth-century England*. - Berkeley etc., 1992; Harrison W. *The Role of women in Anabaptist thought and practice: the Hutterite experience of the sixteenth and seventeenth centuries// Sixteenth Century Journal*. - Kerkville, 1992. - Vol.23, N 1. - P.49-70; Crawford P. *Public duty, conscience, and women in early modern England// Public duty and private conscience in seventeenth-century England/* Ed.by J.Morrill et al. - Oxford, 1993. - P.57-76.

⁶⁷ Warnicke R.M. *Women of the English Renaissance and Reformation*. - Westport (Conn.), 1983; *Silent but for the word: Tudor women as patrons, translators, and writers of religious works /* Ed.by M.P.Hannay. - Kent (Ohio), 1985; *Triumph over silence: Women in Protestant history/* Ed.by L.R.Greaves. - Westport (Conn.), 1985; Wiesner M.E. *Women's response to the Reformation // The German people and the Reformation /* Ed.by R.Po-Chia Hsia. - Ithaca, 1988; *Women in Reformation and Counter-Reformation Europe: Public and private worlds /* Ed.by S.Marshall. - Bloomington, 1989; Rapley E. *The Devotes: Women and Church in seventeenth-century France*. - Montreal, 1990 etc.

⁶⁸ Mendelson S. *The mental world of Stuart women: Three studies*. - Brighton, 1987. - P.4.

и Марии Стюарт. Позиция решительно и ясно сформулирована уже в его первой фразе: “Допустить женщину к управлению или к власти над каким-либо королевством, народом или городом противно природе, оскорбительно для Бога, это деяние, наиболее противоречащее его воле и установленному им порядку...”⁶⁹. В сочинениях Нокса и его соратников определяющей в оценке правления женщины, как “чудовищного” выступала сама принадлежность к женскому полу и ее подданные в дополнительном оправдании для восстания против “такого монстра” не нуждались.

Ирония судьбы состояла в том, что именно в год публикации этого и других аналогичных памфлетов пуританских критиков женского правления, после смерти ревностной католички Марии Тюдор на английский трон возшла защитница реформированной церкви Елизавета, что сделало их негативную позицию по отношению к законности прав женщины занимать престол довольно уязвимой. И вот тогда стало ясным, насколько в действительности мало что определяющим был в этом случае для реформаторов вопрос пола, или то, что нынешние историки называют гендерным фактором. “Ваше Величество напрасно гневается на меня из-за моей книги, которая была написана в другие времена и касалась правления других особ, - оправдывается “опасный бунтовщик” Джон Нокс в письме к королеве Елизавете от 20 июля 1559 г. “Господь...вознес Вас на вершину власти, чтобы Вы правили его людьми для славы церкви Господа. Поэтому в своем правлении Вы должны уповать только на вечное провидение божие, а не на законы, которые из года в год могут меняться. Только в этом случае Ваше правление будет долгим и счастливым, а я, с моей стороны, буду благословлять и укреплять Вашу власть языком и пером”⁷⁰.

Ряд придворных авторов елизаветинского времени выдвинул совершенно новые аргументы против автоматического исключения женщин из порядка престолонаследия. Так, Джон Эйлмер утверждал, что даже замужняя королева может править легитимно, потому что ее подчинение мужу ограничивается частной жизнью и не распространяется на публичную сферу, в которой она и для своего мужа, как для всех своих подданных, является законным монархом. Эту концепцию “расщепленной идентичности” Эйлмер и другие политические мыслители описывали метафорой “двух тел” государя, которая позволяла различать королеву как персону и как воплощение власти, отделяя ее телесную женственность от обнаруживаемых в ней мужских качеств, которые считались необходимыми для управления подданными и которые она могла получить по династическому рождению и воспитанию. Таким образом, как показала, в частности К.Джордан, Эйлмер и другие защитники “женского правления” отчетливо разделяли пол-секс и пол-род, или гендер⁷¹. И сама Елизавета прекрасно осознавала преимущества этой метафоры и использовала сочетание женских и мужских гендерных стереотипов в своих целях, выразив это ярко и лаконично в знаменитой фразе: “Я знаю, что имею тело хрупкой и слабой женщины, но у меня ум и мужество короля”⁷².

Напротив, Жан Боден в своей оппозиции женскому правлению вернулся к постулатам Писания и естественного права и, помимо этого, выдвинул тезис, на который затем в XVII в. чаще всего ссылались его единомышленники в этом вопросе: государство подобно домохозяйству, и потому так же как в домохозяйстве мужу/отцу принадлежит власть над всеми другими, так и в государстве всегда должен править мужчина/монарх. Идея патриархального авторитета и образ Отца использовались монархами для обоснования своих притязаний на власть над подданными, как, например, в утверждении Якова I: “Я - муж, а весь остров - это моя законная жена”⁷³.

Аналогия между королевской и отцовской властью могла “работать” и в обратном направлении - на укрепление авторитета мужского главы домохозяйства. Так

⁶⁹ Цит. по пер. в сб.: Английская Реформация. (Документы и материалы). - М., 1990. - С.55.

⁷⁰ Цит. по пер. в сб.: Англия в эпоху абсолютизма. (Статьи и источники). - М., 1984. - С.57.

⁷¹ Jordan C. Renaissance feminism: Literary texts and political models. - Ithaca, 1990.

⁷² Teague F. Elizabeth I: Queen of England // Women writers of the Renaissance and Reformation. - Athens, 1987. - P.542.

⁷³ Цит. по: Wiesner M.E. Women and gender..., p.243.

же как подданные не имели никакого или строго ограниченное право на восстание против своего государя, так и жена и дети не могли оспаривать авторитет мужа/отца в семье, поскольку считалось, что и монархи, и отцы получили свою власть от Бога, а домохозяйство в этом контексте рассматривалось не как частная, а как мельчайшая политическая ячейка и, соответственно, как часть публичной сферы. Как это сформулировал Боден: “Оставив рассуждения о морали философам и теологам, займемся тем, что относится к политической жизни, и поговорим о власти мужа над женой, которая является источником и основой всякого человеческого общества”⁷⁴.

Многие историки указывают на то, что Реформация способствовала упрочению авторитета глав семейств, придав им еще более важные религиозные и надзирательные функции, чем те, которыми они располагали при католицизме. Но многие представители протестантского духовенства также отводили матерям некоторую роль в религиозном и нравственном воспитании, хотя и непременно второстепенную, по сравнению с отцовской. Но в католических странах власть отца в семье в этот период также усиливается в результате проводимой абсолютизмом политики централизации. Например, во Франции между 1556 и 1789 гг. была принята целая серия законов, которые одновременно усиливали и мужской авторитет в семье и власть государства за счет компетенции церкви, которая для признания брака действительным требовала по меньшей мере номинального согласия обеих сторон. Новые законодательные акты вводили тюремное заключение для детей, которые не подчинялись решениям своих отцов, причем сроки наказания для дочерей были значительно дольше, чем для сыновей. Этот двойной пресс семьи и государства нанес существенный ущерб правам женщин распоряжаться своими личными судьбами и собственностью⁷⁵.

В XVI-XVII вв. власть мужей над своими женами редко оспаривалась, и следствием этого было исключение женщин из дискуссии о политических правах: поскольку замужние женщины в правовом плане находились под опекой супруга, они не могли быть причислены к политически независимым лицам, на тех же основаниях, что и слуги, ученики или держатели. Именно зависимость женщин от своих мужей была использована как повод не прислушаться к их требованиям в тех немногих случаях, когда они открыто предприняли самостоятельные политические акции. Самым ярким примером являются парламентские петиции женщин в эпоху Английской революции. Несколько раз во время Гражданской войны большие группы женщин напрямую обращались к парламенту с петициями по важным вопросам экономики и политики, и неизменно сталкивались с пренебрежением и насмешками⁷⁶. Если они и получали какой-то ответ, то сопровождавший его комментарий сводился к тому, что подобные вопросы находятся выше женского понимания и что женщины должны пойти домой и спросить своих мужей, ведь поскольку муж представляет свою жену в публичных делах за пределами домохозяйства, то женщины не имеют права обращаться в парламент.

В некоторых женских петициях специально отмечалось, что “не все мы являемся женами”, а в петиции 1649 г. были использованы самые сильные аргументы, когда-либо звучавшие вплоть до XIX в. в пользу политических прав женщин: “Так как мы убеждены в нашем сотворении по подобию Божьему и в нашем стремлении к Христу, равном с мужчинами, как и в пропорциональной доле свобод этой Республики, нас просто не может не удивлять и не огорчать, что мы кажемся вам настолько презренными, что недостойны подавать петиции или представлять наши жалобы этой достопочтенной Палате...Разве мы не заинтересованы равным образом с мужчинами нашей страны в тех вольностях и гарантиях, которые содержатся в Петиции о правах и других добрых законах..?” Язык этого уникального исторического документа

⁷⁴ Faure C. Democracy without women: Feminism and the rise of liberal individualism in France. - Bloomington, 1991. - P.40.

⁷⁵ Hanley S. Engendering the state: family formation and state building in early modern France// French Historical Studies, 1989. - Vol.16, N 1. - P.4-27.

⁷⁶ Например, в 1649 г. сотни женщин подали прошение об освобождении лидера левеллеров Джона Лильберна, а в 1659 г. семь тысяч квакерских жен подписали петицию в парламент об отмене десятины.

совершенно недвусмысленно свидетельствует о том, что его авторы чувствовали себя вправе действовать на политической сцене. Однако никто серьезно не обсуждал эти аргументы, а авторы газетных заметок настоятельно рекомендовали мужьям осуществлять более строгий контроль за своими женами и так загрузить их домашними обязанностями, чтобы у них не было времени беспокоиться о политике⁷⁷.

То, что правовая ответственность за действия жен возлагалась на их мужей, имело и другое, можно сказать, обратное последствие, так как это снимало некоторые психологические преграды и стимулировало участие женщин в таких специфических типах политической активности, как бунты, восстания и другие движения народного протеста. Особенно велика была роль женщин в голодных бунтах, где они часто выступали в качестве зачинщиц, а также в антиналоговых движениях в Голландии и Франции XVI-XVII вв. Лидерство женщин в таких чрезвычайных обстоятельствах, видимо, не воспринималось как нарушение гендерной иерархии, учитывая их кратковременность. Но когда дело касалось более широких и продолжительных восстаний политического характера, массовое вовлечение в них женщин вызывало обостренное внимание и дополнительное беспокойство властей, а в конечном счете - особенно ожесточенную реакцию. Из всех возможных способов иерархической организации общества - в соответствии с классом, возрастом, рангом, занятием и т.д. - гендер воспринимался как самый "естественный", а покушения на его незыблемость как самые опасные.

В целом, порвав со многими традиционными взглядами, европейские реформаторы сохранили устойчивые предубеждения относительно того, что подобает мужчинам, а что женщинам. Даже самые радикально-революционные группы в период Гражданской войны и Английской Республики не призывали распространить политические права на женщин и были далеки от того, чтобы предположить, будто за концом власти монарха над его подданными мог бы последовать конец власти мужей над их женами. Ведь в их представлении первая была несправедливой и богопротивной, а вторая "естественной". Предоставив возможность активного участия в политической жизни более широкой группе мужчин, парламентские реформы раннего Нового времени фактически повысили значение половой принадлежности как детерминанты политического статуса. Образцы поведения, которым общество побуждало следовать мужчин, все более наполнялись светским содержанием и включали в себя политическую ответственность, в то время как женские добродетели оставались всецело домашними и христианскими. Говоря словами Бодена, "быть хорошим мужчиной значит также быть добропорядочным гражданином", а быть хорошей женщиной все еще значило быть истинной христианкой⁷⁸.

Но хотя в XVI в. такие христианские добродетели, как набожность, милосердие и смирение ценились наравне или даже выше, чем светские, к XVIII в. такие светские качества, как разум, здравомыслие и товарищество, явно приобрели больший вес. Эти характеристики коллективное сознание приписывало исключительно мужчинам, и то, что они становились самыми важными в общественной жизни, еще более ограничивало возможности женщин играть в ней активную роль. Маскулинизация также отразилась в вербальных предпочтениях, достаточно вспомнить, что во второй половине XVIII в. главные социальные и политические цели формулировались в категориях "братства" и "товарищества".

Совершенно очевидно, что интенсивное изучение проблемы "гендер и власть" во многом изменило устоявшиеся в историографии оценки и интерпретации европейской истории раннего Нового времени, что в равной мере относится и к пониманию взаимосвязей гендерной дихотомии с асимметрией политической власти (в широком смысле слова), и с регуляцией общественной жизни в целом. Этот период оказывается временем ужесточения гендерной иерархии, что прослеживается исследователями в самых разных по характеру источниках и во всех аспектах жизни социума, но причины

⁷⁷ Smith H.L. Reason's disciples: Seventeenth-century English feminists. - Urbana, 1982. - P.55.

⁷⁸ Faure C. Democracy without women..., p.39.

этого явления все еще не до конца выяснены. Может быть дело было в том, что экономические, политические и интеллектуальные сдвиги, такие как рост капитализма, подъем национальных государств, научная революция, привели к тому, что старые гендерные модели устарели и перестали эффективно “работать” еще до того, как были созданы новые образцы, способные прийти им на смену? Наверное, уже скоро специалисты предложат убедительный ответ на этот вопрос. Но на текущий момент открытия гендерных историков обернулись тем, что обогатили и еще более усложнили противоречивую панораму “Великого Перехода”, внося в нее новую, “гендерную”, перспективу.⁷⁹

Гендерный статус и историческая периодизация

Проблема периодизации была унаследована и некритически воспринята гендерной историей от истории женщин “первого поколения”, которая выдвинула в качестве одной из своих основных задач пересмотр общепринятых схем периодизации, построенных исключительно на историческом опыте мужчин. Наиболее генерализованная схема периодизации истории женщин была предложена еще в 1974 г. в обзорной книге Моник Пьеттр “Положение женщин сквозь века”⁸⁰. Она разделила всю историю на три продолжительных фазы в соответствии с превалировавшим в это время образом женщины: на первом этапе, на заре истории человечества это был образ “Матери-Прародительницы”, на втором - в некоторых древних обществах (Египет, Рим) и особенно с упрочением христианства и моногамии - образ Жены-Супруги, и, наконец, на третьем - начиная с эпохи Возрождения - возникает образ Женщины-Личности. При этом “повышение статуса женщины в двадцатом веке не было результатом какого-то линейного подъема, медленного и поступательного продвижения к свободе”.⁸¹ Напротив, этот путь был чрезвычайно извилист.

Сложность выявления динамики гендерной истории усугубляется наличием существенных различий, неоднозначности и одновременности изменений в гендерном статусе отдельных социальных, профессиональных и возрастных групп. Многочисленные исследования продемонстрировали несостоятельность упрощенных схем, в которых та или иная система различий избирается в качестве универсальной объяснительной категории. Неадекватность автономного социально-классового или гендерного анализа красноречиво свидетельствовала в пользу последовательной комбинации этих двух подходов, имеющей в своей перспективе создание социальной истории гендерных отношений. Тем не менее попытки ввести новую периодизацию всемирной истории женщин продолжались. Одна из наиболее интересных была сделана в двухтомном обобщающем труде Бонни Андерсон и Джудит Цинссер “Их собственная история: женщины в Европе от предыстории до настоящего времени”⁸². Определяющей категорией интерпретации исторического материала выступил гендерный фактор: сходство гендерного статуса перевешивало, по мнению авторов, эпохальные, классовые и этнические различия, несмотря на всю их значимость.

К гендерным константам были отнесены следующие общие черты: место женщины в европейском обществе устанавливалось по мужчине, от которого она зависела; основные обязанности женщин в семье и по дому не исключали их из других форм труда; труд женщин в домохозяйстве и вне его всегда считался менее важным, чем мужская работа; лишь немногие европейские женщины (главным образом те, что обладали богатством, высоким положением или талантом) преодолевали ограничения, накладываемые на их жизни обществом, но даже они сталкивались с задаваемыми культурой преимущественно негативными представлениями о женщинах и с убеждением в том, что они должны подчиняться мужчинам. Несмотря на это, у

⁷⁹ Подробно об этом см.: Wiesner M.E. Women and gender..., p.241-255.

⁸⁰ Piettre M. La condition feminine a travers les ages. - P., 1974

⁸¹ Ibid., p.309.

⁸² Anderson B.S., Zinsser J.P. A History of their own: Women in Europe from prehistory to the present. - N.Y. etc., 1988.

женщин была своя история, траекторию которой авторы прослеживают, фокусируя внимание на изменениях ролевых функций женщин в обществе и выделяя группы женщин “в полях”, в церковных учреждениях, в замках и поместьях, в средневековых городах, а также аналогичные категории для новоевропейской истории. Они замечают, что “одно и то же историческое событие можно увидеть по-разному с разных точек зрения различных групп женщин. Например, индустриализация воздействовала на женщин, принадлежащих к рабочему классу, и женщин среднего класса совершенно различным образом...То же самое справедливо и для Ренессанса, Просвещения, Французской революции и для двух мировых войн”⁸³.

Что касается характеристики отдельных периодов истории, то здесь непревзойденным образцом, без ссылки на который не обходится ни одна работа по истории женщин раннего Нового времени, до сих пор остается замечательная статья видного историка, теоретика и практика американского феминизма 70-х годов Джоан Келли с красноречивым названием - “Было ли у женщин Возрождение?”. Для исследования воздействия новых общественно-политических условий перехода от Средневековья к раннему Новому времени на положение женщин различных социальных групп Дж.Келли разработала собственную теоретическую модель - комплексный индикатор уровня и качества “женской свободы”. Она учитывала четыре взаимосвязанных критерия: общественную регламентацию женской сексуальности, в сравнении с мужской; предписываемые женщинам роли в хозяйственной и политической сферах, включая их доступ к собственности, власти, образованию, профессиональному обучению и т.д.; роль женщин в культурной жизни общества, в формировании его мировоззрения; и наконец, систему представлений о роли женщин и вообще о ролевых функциях полов в общественном сознании, в искусстве, литературе и философии. Проведенный по этим направлениям анализ привел Дж.Келли к выводу об усилении зависимости и снижении гендерного статуса итальянок XV-XVI вв. и позволил дать довольно категоричный ответ на титульный вопрос: “У женщин не было никакого Возрождения, по крайней мере его не было в эпоху Ренессанса”⁸⁴. Следуя во многом в том же русле, американская исследовательница Джоан Ландес опровергла представление о раскрепощающем воздействии Великой французской революции на историю женщин⁸⁵.

Таким образом, включение “женской” точки обзора поставило на повестку дня вопрос о коррекции общего видения исторического процесса. Выбор новой перспективы изменяет всю картину так называемого прогрессивного развития и общепринятые оценки исторических периодов. “Для женщин “прогресс” в Афинах означал конкубинат и затворничество жен в гинекеях”, - писала Дж.Келли в другой своей статье “Социальные отношения полов и методологическое значение истории женщин”⁸⁶. “В Европе эпохи Возрождения он означал привязывание жены буржуа к дому и эскалацию охоты на ведьм...” А Великая французская революция “открыто исключила женщин из своей свободы, равенства и братства”⁸⁷.

В поисках корреляции между статусом женщин и характером общественной организации истории идут вслед за антропологами, которые подчеркивают ее непрямой характер и указывают на то, что усложнение общественных структур влекло за собой снижение авторитета женщины в семье, сокращение ее имущественных прав, установление двойного стандарта норм поведения и морали и, вместе с тем, усиление неформального влияния женщин через более широкую сеть социальных связей за

⁸³ Ibid., p.XV-XIX.

⁸⁴ Kelly J. Women, history and theory. - Chicago, 1984. - P.19-50.

⁸⁵ Landes J. Women and the public sphere in the age of the French Revolution. - Ithaca, N.Y., 1988. Правда, некоторые критики обвиняют Ландес в недооценке той роли, которую женщины эпохи революции, принадлежавшие к интеллектуальной элите, пользуясь определенной свободой дискурса, играли в формировании институтов новой публичной сферы (от салонов до прессы), бросивших вызов авторитету монархии. - Goodman D. Public sphere and private life: Toward a synthesis of current historiographical approaches to the Old Regime// History and Theory. - 1992. - Vol.31, N 1. - P.14-20.

⁸⁶ Kelly J. Op.cit., p.1-18.

⁸⁷ Ibid., p.3.

пределами семьи и домохозяйства⁸⁸. Вот почему, сохраняя в целом периодизацию, фиксирующую структурные трансформации в обществе, гендерная история делает акцент на различных последствиях этих перемен для мужчин и для женщин, на долю которых достались не дивиденды, а издержки “прогресса”.

Переиздавая получивший широкую известность коллективный труд “Становясь видимыми: женщины в европейской истории”, его редакторы объяснили принятое ими традиционное деление пройденного Европой исторического пути тем, что “такие крупные катаклизмы, как войны и эпидемии оставляют глубокий разлом в жизни всех членов общества, и мужчин, и женщин, а такие долговременные процессы, как индустриализация, политическое развитие и повышение жизненного уровня изменяют жизнь каждого. Но наш особый ракурс показывает, что женщины переживали эти массовые сдвиги иначе, чем мужчины”⁸⁹. Они отмечают две ведущие тенденции, которые определяют траекторию женской истории. Одна из них - ускорение темпов дифференциации задач в экономике и управлении, что влечет за собой необходимость их централизованной координации: “по мере того, как общества становятся более сложными, власть стекается наверх и в общем в руки немногих мужчин, а большинство женщин остается внизу”⁹⁰. Вторая историческая тенденция состоит в попытках оправдать лишение женщин власти и авторитета сведением гендерных различий в некую систему оппозиций, снабженных ярлыками “мужское” и “женское”. Качества, якобы присущие женщинам, противопоставляются “мужским”: женщины определяются как пассивные, мужчины - как активные, женщины описываются как эмоциональные, мужчины - как интеллектуальные, женщины полагаются “по природе” заботливыми, мужчины - “по природе” честолюбивыми”⁹⁰. В целом же анализ экономической дифференциации и гендерной поляризации производится в общепринятой долгосрочной перспективе.

Оказывается, что в более отдаленное время асимметрия гендерной системы была гораздо слабее, чем в более поздние, что в эпохи, которые традиционно считаются периодами упадка, статус женщин относительно мужчин отнюдь не снижался, а в так называемые эры прогресса плоды последнего распределялись между ними далеко не равномерно. Однако при такой постановке проблемы, несмотря на несовпадение фаз исторического опыта мужчин и женщин, задача периодизации исторического развития отходит на второй план, речь уже идет главным образом о его оценке и реинтерпретации. И хотя XVI-XVII столетия почти единодушно оцениваются гендерными историками как эпоха крупных сдвигов, которые в основном негативно отразились на статусе женщин в патриархальной семье и общественном производстве, именно к этому времени они относят важнейший позитивный момент в избранной ими картине исторической динамики - рождение “женского вопроса” и традиции феминизма⁹¹.

В этой связи особый интерес вызывает дискуссия о преемственности и изменчивости в истории женщин при переходе от Средневековья к Новому времени, состоявшаяся на страницах новых специализированных журналов. Эта полемика была вызвана распространенным в феминистских исследованиях представлением о неизменности и непрерывности “патриархального угнетения”, которое нашло наиболее яркое выражение в обзорной статье о положении женщин в европейской экономике одного из лидеров “женской истории”, американской медиевистки Джудит Беннет. Название этой статьи - “Неподвижная история”, заимствованное из известной работы Э.Леруа Лядюри, намеренно эпатировало читателя⁹². Впрочем, речь шла, конечно, не о полной статичности “патриархата”, который существовал в

⁸⁸ Women, culture and society / Ed.by M.Z.Rosaldo, L.Kamphere. - Stanford, 1975; Toward an anthropology of women / Ed.by R.R.Reiter. - N.Y., 1975. Подробно о концепциях и проблематике исследований зарубежных антропологов в 1970-80-е гг. см. в сб.: Женщина в обществе и культуре. - М., 1987.

⁸⁹ Becoming visible: Women in European history / Ed.by R.Bridenthal et al. - Boston etc., 1987. - P.XI.

⁹⁰ Becoming visible: Women in European history/ Ed.by R.Bridenthal et al. - Boston etc., 1987. - P.1-2.

⁹¹ См., в частности: Connecting spheres. Women in the Western world, 1500 to the present / Ed.by M.J.Boxer, J.H.Quataert. - N.Y., Oxford, 1987.

⁹² Bennett J.M. “History that stands still”: Women’s work in the European past // Feminist Studies. - 1988. - Vol.14, N 2. - P.269-283.

разных исторических формах и вариациях⁹³, а о том, что отдельные изменения, имевшее место на рубеже Нового времени в положении женщин, не затронули основ патриархальной системы. Как бы то ни было, нельзя не признать справедливости замечаний тех критиков, которые увидели в этом “пафосе неподвижности” и в призывах к пересмотру традиционной периодизации не только рецидив “радикального феминизма”, но и опасность отрыва истории женщин от общеисторического контекста⁹⁴. Характерно, что в своем ответе Дж.Беннет сочла необходимым подчеркнуть: “Я вовсе не утверждаю, что в жизни женщин не произошло никаких перемен, но я полагаю, что для женщин и для мужчин ход и реалии этих изменений, а также их движущие силы, были различными...В конце концов, история изучает не только изменения, но и преемственность. И если последняя больше проявляется в истории женщин, чем в истории некоторых других групп, то это требует разгадки, но, разумеется, не влечет за собой де-историзацию...Никто не станет отрицать, что история женщин должна быть лучше интегрирована в единое целое с более старыми областями исторических исследований, но существует много способов достичь этой цели...Я считаю, что мы должны развивать наши собственные историографические традиции с тем, чтобы соединиться с другими историческими дисциплинами на равных условиях”⁹⁵.

Пока можно уверенно говорить лишь о создании некоторых реальных предпосылок для становления новой исторической субдисциплины с исключительно амбициозной задачей - переписать всю историю как историю гендерных отношений, покончив разом и с вековым “мужским шовинизмом” всеобщей истории, и с затянувшимся сектантством “женской истории”. Но признаки продвижения к позитивному решению этого вопроса можно заметить уже сейчас. Они, в частности, проявляются в том, что главные узлы проблематики гендерной истории возникают именно в точках пересечения возможных путей интеграции истории женщин в пространство всеобщей истории. Обнадеживающие перспективы отчетливо просматриваются в истории повседневности и в истории частной жизни. Внимание историков привлекают гендерно-дифференцированные пространственные характеристики и ритмы жизнедеятельности, вещный мир и социальная среда, специфика женских коммуникативных сетей, магические черты “женской субкультуры”. В фокусе истории частной жизни оказывается внутренний мир женщины, ее эмоционально-духовная жизнь, отношения с родными и близкими в семье и вне ее, женщина как субъект деятельности и объект контроля со стороны семейно-родственной группы, формальных и неформальных сообществ, социальных институтов и властных структур разного уровня.

Гендерные исследования, проблема синтеза и новая социокультурная история

Итак, критический момент, которому предстоит определить будущее гендерной истории, состоит в решении проблемы ее сближения и “воссоединения” с другими историческими дисциплинами, а говоря иначе - в определении ее места в новом историческом синтезе. Но ее движение к интеграции опирается в ту самую человеческую субъективность, изучению которой в гендерной истории уделяется немало сил и времени: “женский вопрос” столь явно доминирует в сознании практикующих ее историков, что слишком часто “история гендерных отношений” оказывается вновь расколотой на ту самую “женскую историю” с родимыми пятнами радикального феминизма, которую теперь предпочитают называть “гендерной историей женщин”, и делающую первые довольно робкие шаги “гендерную историю мужчин”. Более того, новорожденная “история мужчин”, призванная дополнить свою “женскую половину”, похоже, во многом собирается повторить ее путь.

Парадоксально, но историки, проявляющие серьезный интерес к исследованию гендерной идентичности “сильной половины человечества”, как и первые “историки женщин”,

⁹³ Bennett J. Feminism and history// Gender and History. - 1989. - Vol.1, N 2. - P.251-272.

⁹⁴ Hill B. Women's history: A Study in change, continuity or standing still?// Women's History Review. - 1993. - Vol.2, N 1. - P.5-22.

⁹⁵ Bennett J. Women's history: A Study in continuity and change // Women's History Review. - 1993. - Vol.2, N 2. - P.176.

сталкиваются со скептическим отношением многих собратьев по профессии, которые видят в “истории мужчин” лишь очередную дань идеологической моде и в подавляющем большинстве не признают эвристического потенциала этого нового направления, хотя именно изучая историю мужчин, можно убедительнее всего показать, как гендерные представления пронизывают все аспекты социальной жизни, вне зависимости от присутствия или отсутствия женщин. Некоторые историки вполне обоснованно связывают такое прохладное отношение с тем, что при чтении источников создается впечатление, будто мужчин в них вовсе нет, хотя они и упоминаются повсюду. И именно поэтому исследователи гендерной истории мужчин, трактующей понятие мужественности как несводимую к биологической данности категорию культуры, предпочитают заниматься главным образом ясно выраженной мужской идеологией⁹⁶. Кроме того, большая часть работ, анализирующих наследие мыслителей прошлого, вводит гендерную проблематику в контекст интеллектуальной истории⁹⁷.

В самое последнее время можно говорить о появлении сторонников более теоретически продуманных комплексных подходов к истории мужчин и истории патриархальной системы, учитывающих, помимо психических и культурных составляющих гендерной идентичности и структуры гендерной иерархии, положение субъекта в социальной иерархии и конфигурацию последней. Например, речь идет о том, что степень участия мужчин в отпавлении политических функций в раннее Новое время определялась, в отличие от женщин, не гендерным, а набором социальных и других факторов - классом, возрастом, положением, занятием, местом проживания и т.д. При этом новейшие исследования показывают, что концепции “мужественности” также были важными признаками, определяющими доступ к политической власти. В рассматриваемый период понятие “истинного мужчины” подразумевало статус женатого главы домохозяйства, так что те неженатые мужчины, чей класс и возраст давал им в принципе гражданские права, не могли участвовать в политической жизни в той же мере, что и их женатые братья. На холостяков смотрели с подозрением, потому что они, так же как и незамужние женщины, вели образ жизни, который не соответствовал подобающему им месту в гендерно-дифференцированной социальной упорядоченности. Некоторые из этих мужчин, такие как подмастерья в Германии, Англии, Франции, осознавая, что им никогда не суждено стать главами домохозяйства, создали альтернативные концепции мужественности и мужской чести, которые резко отличались от господствующей. Они стали рассматривать свое холостяцкое состояние, принудительно навязанное им цеховыми мастерами, как нечто позитивное и предпочитали подчеркивать свою свободу от политических обязанностей, а не отсутствие политических прав. Верность исключительно мужской организации подмастерьев считалась в их среде крайне важной, она была ключевой в их понятии “истинного мужчины”.

Еще более заметное место занимает проблема переплетения социальных и гендерных различий в исследованиях по истории мужчин более позднего времени. Например, английский историк Дж.Тош, размышляя о том, что значило быть мужчиной в XIX в., предлагает исходить из того, что формирование мужской идентичности было детерминировано балансом между тремя ее компонентами, связанными с домом, работой и кругом общения: достойная работа, единоличное содержание семьи и свободное общение на равных с другими мужчинами. Все эти компоненты, в свою очередь, социально обусловлены. Дж.Тош справедливо считает концепцию разделенных частной и публичной сфер неадекватной еще и потому, что как раз

⁹⁶ Nye R.A. Masculinity and male codes of honor in modern France. - N.Y., 1993.

⁹⁷ Nature, culture and gender / Ed.by C.MacCormack, M.Strathern. - Cambridge, 1980; Pitkin H.F. Fortune is a woman. Gender and politics in the thought of Niccolo Machiavelli. - Berkeley, 1984; Men's ideas/women's realities: Popular science, 1870-1915/ Ed. by L.M.Newman. - N.Y., 1985; Keller E.F. Reflections on gender and science. - New Haven, 1985; Elshtain J.B. Meditations on modern political thought: Masculine/feminine themes from Luther to Arendt. - N.Y., 1986; Nicholson L. Gender and history. The Limits of social theory in the age of the family. - N.Y., 1986; Fausto-Sterling A. Myths of gender. Biological theories about women and men. - N.Y., 1986.

возможность свободного перехода между ними, которая являлась мужской привилегией, была неотъемлемой частью социального устройства⁹⁸.

Речь должна, следовательно, идти о разработке таких концепций и методов, которые позволили бы совместить гендерный и социальный подходы в конкретно-историческом анализе. Но нынешнее положение вещей вынуждает констатировать, что решение многих стоящих перед гендерной историей проблем еще потребует значительных усилий, направленных на соединение всех методологических ресурсов и реализацию продуктивного сотрудничества социальных историков и историков культуры.

Еще одно перспективное направление гендерной истории самым тесным образом связано с оригинальным подходом, который можно условно назвать персональной, или новой биографической историей. Он, разумеется, имеет очень жесткие ограничения в источниковой базе для ранних периодов истории. Даже исследователи западноевропейской истории раннего Нового времени, несмотря на наличие довольно богатых частных архивов и обширного корпуса литературных памятников, сталкиваются с серьезными трудностями и прежде всего в своих попытках реконструировать историческую индивидуальность представителей средних и низших социальных слоев. В частности, стремясь восстановить внутренний мир женщины этого времени, ученые вынуждены обращаться к немногочисленным представительницам элиты, потомкам которых к тому же удалось сберечь и пронести свои фамильные архивы сквозь все исторические катаклизмы.

Но и в таких счастливых случаях неизбежно встает вопрос, можно ли наблюдения, сделанные на основании исследования отдельных судеб в сколь угодно щедрых на подробности казусах экстраполировать в область коллективного и тем более социально-дифференцированного гендерного опыта? Для такого переноса, конечно, требуются дополнительные обоснования. Иногда исследователь опирается на гипотезу о двойственности женского мировосприятия, предполагающую, что если в одних ситуациях представления женщины в той или иной мере отражали ее социальную принадлежность, которая определялась, в зависимости от ее семейного положения, по мужу или по отцу, то в других - классовые различия вытеснились более фундаментальными гендерными характеристиками. Констатация существенной общности "женского опыта" каждой конкретной эпохи, таким образом, не элиминирует расхождений, создаваемых социальным неравенством, и соответствует тем свидетельствам источников, которые подтверждают, что противоречия этого "двойного статуса" женщин осознавались мыслящими современниками и озадачивали их так же, как и нынешних историков, пытающихся расположить женскую ментальность в классово-гендерной системе координат.

В новой "персональной истории" индивидуальные биографии как предмет микроанализа используются для прояснения социального контекста, а не наоборот, как это практикуется в традиционных исторических биографиях⁹⁹. Несмотря на наличие серьезных эпистемологических трудностей, обновленный и обогащенный принципами микроистории биографический метод, при всех своих естественных ограничениях, позволил исследователям основательно разработать многие проблемы гендерной дифференциации, включая роль матримониального статуса и психологические особенности различных стадий жизненного цикла, ролевые предписания и ограничения, реакции общества на девиантное поведение.

В то время как семейный статус определял каждую фазу женского жизненного цикла, отношение к женской сексуальности в широком смысле слова детерминировало поведенческий стереотип, предписываемый обществом всем женщинам, независимо от их возраста, семейного или социального положения. Этот нормативный код,

⁹⁸ Tosh J. What should historians do with masculinity? Reflections on nineteenth-century Britain // History Workshop Journal. - 1994. - N 38. - P.179-202. См. также: Manful assertions: Masculinities in Britain since 1800 / Ed.by M.Roper, J.Tosh. - L., 1991.

⁹⁹ См.: Levi G. Les usages de la biographie // Annales. - P., 1989. - A.44, N 6. - P. 1331-1332.

выражавшийся, в частности, в понятиях "чести" и "позора", идеале женской скромности как внешнего выражения целомудрия, был призван контролировать не только сексуальное поведение женщин, но практически все стороны их бытия: он задавал строгости воспитания и скудость образования, стиль одежды и манеру говорить, ограничения в выборе партнера, рамки приемлемой деятельности и многое другое. Конечно, не все женщины следовали модели поведения, предписываемой им традиционным обществом, но обнаружившееся в целом ряде исследований разнообразие возможностей, в целом очерчивает их пределы, выход за которые был трагическим уделом единиц.

Пожалуй, наибольшие ожидания от гендерной истории в области методологии связаны именно с поисками решения чрезвычайно трудной проблемы взаимодействия индивидуального, группового, социального и универсального в историческом процессе. В то же время приходится констатировать, что уже полученные результаты работы историков, которые - в зависимости от избранного ракурса исследования - описывают отдельные женские судьбы, либо выясняют роль женщин в семье и домохозяйстве, или выявляют место женщины в общественно-публичной сфере (в заданных пространственно-временных границах), все еще нуждаются в переосмыслении с точки зрения возможного синтеза всех этих трех аспектов изучения истории женщин. В практике же конкретно-исторических исследований с более широким охватом, определенное продвижение в решении этой проблемы уже намечено.

Как показали в своих замечательных историко-биографических исследованиях С.Мендельсон и Н.Дэвис, даже редкие женщины XVII в., искавшие более широкое поле приложения своих сил, не оспаривали всего комплекса "гендерной асимметрии", вовсе не претендовали на привилегии мужчин в политике, праве, образовании, сексуальных отношениях, а своему проникновению в "заповедные" сферы деятельности настойчиво искали оправдания¹⁰⁰. Но хотя никто из них не ставил открыто под сомнение гендерную полярность, как она понималась современниками, реализация такими женщинами своих властных амбиций, социальных притязаний, интеллектуального потенциала и творческой энергии в скрытом виде была явлением достаточно распространенным. Представленные исследовательницами "тройные портреты" высвечивают весь спектр и пределы возможностей индивида в рамках данного исторического контекста и комбинации социальной и гендерной иерархий.

Н.Дэвис выразительно формулирует свою исследовательскую программу в Прологе, построенном в виде воображаемого диалога автора с героинями написанной ею книги: "Позвольте мне объяснить...Я собрала вас вместе для того, чтобы больше узнать о ваших сходствах и различиях. В наши дни иногда говорят, что женщины прошлого похожи друг на друга...Я хотела показать, в чем вы были близки друг другу, а в чем нет, в чем вы отличались от мужчин своего мира и в чем были такими же..., как разные религии влияли на женские судьбы, какие двери они перед вами открывали, а какие закрывали, какие слова и дела они позволяли вам выбирать...Я хотела узнать, как вы трое боролись с гендерным неравенством...Но я не изобразила вас просто многострадальными. Я также показала, как женщины в вашем положении извлекали из него максимум возможного. Я интересовалась тем, какие преимущества давала вам маргинальность..."¹⁰¹.

В гендерных исследованиях подобного рода привлекает исключительно взвешенное сочетание двух познавательных стратегий: с одной стороны, пристального внимания к "принуждению культурой" и к "сложному способу конструирования смыслов и организации культурных практик", к риторическим лингвистическим средствам, с помощью которых "люди представляют и постигают свой мир"¹⁰², а с

¹⁰⁰ Mendelson S. The Mental world of Stuart women: Three studies. - Brighton, 1987; Davis N.Z. Women on the margins. Three seventeenth-century lives. - Cambridge (Mass.); L., 1995.

¹⁰¹ Davis M.Z. Op.cit., p.2-4.

¹⁰² Scott J.W. Deconstructing equality-versus-difference: Or the uses of poststructuralist theory of feminism // Feminist Studies. - 1988. - Vol.14, N 1. - P.34.

другой - выявления активной роли действующих лиц истории, наделенных, согласно удачной формуле Габриэлы Спигел, "исторически обусловленным авторским сознанием"¹⁰³, и способа, которым исторический индивид - в заданных и не полностью контролируемых им обстоятельствах - мобилизует и целенаправленно использует наличествующие инструменты культуры, "творя историю", даже если результаты этой деятельности не всегда и не во всем соответствуют его намерениям.

Переход от "монологической" истории женщин к "диалогической"¹⁰⁴ гендерной истории и появление обобщающих исторических трудов в теоретическом контексте гендерных исследований дали мощный импульс научной полемике о возможных и наиболее плодотворных путях интеграции новой дисциплины в историю всеобщую¹⁰⁵. Жорж Дюби и Мишель Перро во Введении к пятитомной "Истории женщин на Западе" совершенно справедливо отметили, что "стало возможным говорить о "новой истории женщины", поскольку ее предмет, методы и подходы в конце 80-х - начале 90-х годов претерпели существенные изменения... Это уже собственно не история женщин, а история отношений между полами"¹⁰⁶. Между тем проблема периодизации не была переосмыслена с учетом новых концепций и задач. Она не сходит с повестки дня и по сей день оживленно обсуждается, а ее значение постоянно подчеркивается, но все попытки ее решить, по-видимому, обречены на неудачу. И не в последнюю очередь потому, что с учетом кардинального сдвига в общей направленности от истории женщин к истории взаимоотношений между полами сама постановка задачи дать специальную периодизацию истории с позиции одного - но только другого - пола, выглядит анахронизмом.

Гораздо более привлекательным в этом плане кажется предложение одного из признанных лидеров "новой культурной истории" Роже Шартье, который ставит периодизацию женской истории в зависимость от выявления исторически изменчивого и специфического для каждой из социальных систем "способа артикуляции различных возможностей женского влияния", поскольку только их конкретное соотношение в данный исторический период может прояснить, каким образом в условиях гендерной асимметрии создается женская субкультура. Главным объектом истории женщин становится изучение различных дискурсов и практик, "регистрируемых многими источниками механизмов, которые гарантируют (или призваны гарантировать) признание женщинами господствующих представлений о различиях между полами, как то правовая приниженность, взгляд на роли полов, навязываемый школой, разделение труда и пространства, исключение из сферы публичного и т.д." Реализуемое таким образом "символическое насилие" (П.Бурдьё) всегда утверждает и закрепляет патриархальные отношения господства и подчинения, которые сложились культурно-исторически, как "различия природные, коренные, неустранимые и всеобщие. Поэтому суть проблемы состоит не в том, чтобы противопоставлять историческое и биологическое определения оппозиции женщина/мужчина, а скорее в том, чтобы для каждой исторической конфигурации идентифицировать те механизмы, которые формулируют и представляют как "естественное" (а значит - биологическое) это социальное (а значит - историческое) разделение ролей и функций".

Систематически воспроизводимые представления о женской неполноценности не исключают отклонений и манипуляций. "Через присвоение женщинами мужских моделей и норм представления, имеющие в виду обеспечить господство и подчинение, превращаются в инструмент сопротивления и утверждения своей идентичности... Не все трещины, раскалывающие монолит мужского господства, принимают форму эффективных разрывов и непременно находят яркое выражение в идеологии отказа и

¹⁰³ Spiegel G.M. History, historicism and the social logic of the text in the middle ages // Speculum. - 1990. - Vol.65, N 1. - P.59-86.

¹⁰⁴ О диалогической природе нового видения истории см.: Ястребицкая А.Л. Проблема взаимоотношения полов как диалогических структур средневекового общества в свете современного историографического процесса // Средние века. - 1994. Вып.57. - С.126-136.

¹⁰⁵ Social Science History - 1989. - Vol.13, N4. - P.439-477.

¹⁰⁶ A History of Women in the West / Ed.by G.Duby, M.Perrot. - V.1. - P.XIX.

мятежа. Часто эти трещины возникают внутри самого согласия, и для изъяснения непокорности используется язык господства". "Именно проблема согласия - самая что ни на есть центральная в функционировании системы власти, идет ли речь о социальном или же о половом делении"¹⁰⁷. Таким образом на первый план выводится то, что может служить общим основанием и инструментом интеграции гендерных исследований в новую социокультурную историю.

Современные гендерные исследования пронизывают, хотя и неравномерно, почти все области исторической науки, достигнув пределов своей экспансии. На сегодняшний день история женщин и гендерная история в ее наиболее широком истолковании представляют собой огромное междисциплинарное поле, охватывающее социально-экономическое, демографическое, социологическое, культурно-антропологическое, психологическое, интеллектуальное измерения, и имеют объективные основания стать весьма важным стратегическим плацдармом для реализации проекта "новой всеобщей истории", способной переосмыслить и интегрировать результаты исследований микро- и макропроцессов, полученные в рамках "персональной", локальной, структурной и социокультурной истории.

Именно эта ориентация на преодоление гендерно-исторической автономии и пристрастие к комплексным исследованиям самого высокого уровня характеризует новое качество рождающегося на наших глазах направления, которое можно было бы условно назвать моделью "женской истории" четвертого поколения, если бы в этой версии она по существу не перестала быть просто историей женщин. На самом деле траектория движения фиксирует иные вехи: от якобы бесполой, всеобщей по форме, но по существу игнорирующей женщин истории, к ее зеркальному отражению в лице "однополой", "женской истории" и от последней - к действительно общей истории гендерных отношений и представлений, а еще точнее к обновленной и обогащенной социальной истории, которая, в отличие от так называемой новой социальной истории, стремится расширить понимание социального (и соответственно - свое предметное поле), включив в него все сферы межличностных отношений, как публичную, так и приватную, и все социокультурные (в том числе и гендерные) характеристики исторического индивида.

Известная британская писательница Элизабет Джейнуэй так сформулировала свою задачу в написанной под впечатлением сексуальной революции книге: "Мир принадлежит мужчине, место женщины дома" - это разделение так старо и так прочно укоренилось в наших умах и культуре, что производит иллюзию неизбежности и богооткровенной истины...Как это произошло и каково воздействие этого деления на устройство нашего общества - вот предмет этой книги, поскольку я ставлю своей задачей рассмотреть наши представления о женщинах и об их роли не для того, чтобы изучить женщин и определить приличествующее им место, а для того, чтобы исследовать наше общество, его представления и его динамику..."¹⁰⁸. Исторической наукой такая масштабная исследовательская задача - изучить исторический социум сквозь суперструктуру мифа, возвращенного культурой на почве объективных (физических и психологических) различий между полами - была поставлена в полном своем объеме только спустя четверть века, уже в интеллектуальном контексте гендерной истории.

¹⁰⁷ Chartier R. Differences entre les sexes et domination symbolique (note critique) // *Annales E.S.C.* - P., 1993. - А.48, N 4. - P.1005-1008. См.также: Шартье Р. История сегодня: сомнения, вызовы, предложения // *Одиссей. Человек в истории.* 1995. - М., 1995. - С.201-202.

¹⁰⁸ Janeway E. *Man's world, woman's place: a study in social mythology.* - N.Y., 1971.